

МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВ

ВОЛЖСКИЙ
РОМАН



ВИШНЕВЫЙ ОМУТ

Волжский роман

Михаил Алексеев

Вишневый омут

«ВЕЧЕ»

1962, 1964

Алексеев М. Н.

Вишневый омут / М. Н. Алексеев — «ВЕЧЕ», 1962,
1964 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-7861-1

В книгу выдающегося русского писателя, лауреата Государственных премий, Героя Социалистического Труда Михаила Николаевича Алексеева (1918–2007) вошли роман «Вишневый омут» и повесть «Хлеб – имя существительное». Это – своеобразная художественная летопись судеб русского крестьянства на протяжении целого столетия: 1870–1970-е годы. Драматические судьбы героев переплетаются с социально-политическими потрясениями эпохи: Первой мировой войной, революцией, коллективизацией, Великой Отечественной, возрождением страны в послевоенный период... Не могут не тронуть душу читателя прекрасные женские образы – Фрося-вишенка из «Вишневого омута» и Журавушка из повести «Хлеб – имя существительное». Эти произведения неоднократно экранизировались и пользовались заслуженным успехом у зрителей.

ISBN 978-5-4484-7861-1

© Алексеев М. Н., 1962, 1964

© ВЕЧЕ, 1962, 1964

Содержание

Вишневый омут	6
Часть первая	6
1	6
2	8
3	12
4	13
5	14
6	15
7	18
8	20
9	23
10	23
11	25
12	27
13	29
14	31
15	33
16	36
17	41
18	45
19	48
20	54
21	57
22	63
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Михаил Алексеев

Вишневый омут

© Алексеев М.Н., наследники, 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Вишневый омут

Роман

Часть первая

О чем не подумал – про то не расскажешь;

О чем не заплакал – про то не споешь.

1

Омут кругл, глубок и мрачен. Никогда не меняет он своего угрюмого цвета. Светлые, золотистые воды Игрицы, впадая в него, мгновенно темнеют, становятся густо-красными, а вырвавшись на волю, тотчас же обретают прежнюю прозрачность.

У омута нет дна. Так полагали все. Случалось, что находился человек, который этому не верил – как нет дна? – и делал попытку измерить глубину его. А потом роковым образом исчезал – так-то мстил омут малOVERу.

До сих пор никому еще не удалось проникнуть в темную, бездонную душу омута и познать его. Легенды о нем, одна страшнее другой, передавались из уст в уста, из поколения в поколение. С годами они причудливым образом видоизменялись, сохраняя постоянной лишь мрачную свою окраску. Кто-то кого-то убил и, пряча след, бросил жертву в омут. Какой-то безумец вздумал искупаться, «мырнул в омут, да так и не вымырнул». Какая-то красавица опустила в него помыть свои белы ноженьки и была затянута, завлечена в его глыбь. Кто-то нехорошо выругался, упомянул всуе дьявола, и сам неведомо как очутился в омуте – с той поры все затонские матерщинники, проходя мимо омута, напускали на свой лик ангельское благолепие и взамен бранных слов истово твердили: «Господи, спаси и помилуй мя, грешного!» Нашел свой смертный час в омуте и некий священник, погрязший в мирских делах: употребив «зеленого змия» сверх всякой меры, темной ночью возвращался он от молодухи и кубарем скатился с высокого берега; поутру прихожане из большого и старинного селения Савкина Затона всем миром-собором вышли с сетями, баграми, шарили, шарили, да так и ушли ни с чем; одному только мальчонке удалось зацепить удильным крючком поповскую камилавку, и это было все, что осталось от батюшки.

Таинственная, колдовская сила омута почему-то особенно манила к себе молодых барынь. По свидетельству затонских стариков, утонуло их там несть числа. Влюбится, глупая, в заезжего гуляку гусара, тот проведет с нею ночь – и поминай как звали. Рвет на себе косы барынька, ломает рученьки, а потом вдруг вспомнит про омут, камень на шею – и бултых! Черные круги медленно разойдутся во все стороны, посереблятся под луной, успокоятся, и, затихнув, угрюмый и загадочный омут ждет очередной жертвы. Он окружен талами, высоченной крапивой, горькими, в великанский рост лопухами и папоротником; все это туго опуталось хмелем, колючими плетями ежевики, удав-травой и сделало берега омута малодоступными. Лишь узкие тропинки рыбаков робко пробираются сквозь эти заросли, но и рыбаки бывают тут редко: недобрая слава омута пугает и их. А рыбы в омуте великое множество: караси размером и цветом напоминают давно не чищенные медные самовары, сазаны, лещи, окуня, шуки, лини, сомы.

Омут называется Вишневым, а почему, никто не знает. Самые давние жители Савкина Затона, такие как бабка Сорочиха, не помнили, чтобы по берегам его росли вишни. Может быть, нарекли его так за темно-красный цвет, может быть, за то, что уж очень много, ежели верить легендам, людской кровушки цвета спелой вишни пролилось в вечно студеные воды омута и окрасило его.

Прохожих, всех без исключения, при виде омута охватывала оторопь. Девчата миновали его не иначе как рысью и с отчаянным визгом. А богомольные старухи обходили далеко стороной.

Один только человек не страшился Вишневого омута и часто подолгу засиживался на самом крутом и пугающем берегу его. Это был Гурьян Дормидонтович Савкин. Его смелости, однако, никто не удивлялся, потому как давно всем было доподлинно известно, что Гурьян с нечистой силой омута заодно, что он с нею на короткую ногу. Самого Гурьяна односельчане боялись пуще дьявольской силы омута. Сказывают, он и жену подобрал под стать себе: жена его Февронья Жмычиха – колдунья. Карпушка Колунов, например, своими глазами видел, как Жмычиха в глухую полночь заплыла на самую середину Вишневого омута и три раза кряду проблеяла по-козлячи.

По имени Савкиных было названо и село.

Позднее, правда, у Гурьяна появился опасный соперник. Появился совсем незаметно, тихо и в короткое время оказался предметом всеобщего и удивленного внимания. Он не сворачивал чужих скул в кулачных побоищах, не убивал потехи ради одним ударом полуторагодного быка, как это делал Гурьян, не засиживался до глухой поры у страшных берегов омута, не мял в темных углах зазевавшихся молодеак, не пускал по миру неугодных ему затонцев. Светло-русый и вообще весь какой-то светлый, с веселыми и добрыми, тоже светлыми глазами, высокий, чуть-чуть сутулившийся, человек этот взошел однажды на высокую плотину, повернулся спиной с закинутыми за нее тяжелыми руками к Вишневому омуту, долго глядел на противоположный берег Игрицы, а на другой день его уже видели там, на левом берегу. Напевая что-то себе под нос, он один, без чьей-либо помощи, рубил и выкорчевывал дубы, осины, вязы и наклёник. Лошади у него не было, и срубленные деревья он оттаскивал сам.

Попрятавшиеся в кустах бабы все это время наблюдали за ним. Их особенно удивило то, как незнакомый им человек, похоже, «странный», копал землю. Он не нажимал на заступ ногой. Лопата как бы сама, от легкого усилия рук погружалась в почву.

– Силища-то, бабоньки! А ить молоденький! – шептала горячо какая-нибудь и, вдруг примолкнув, думая, видно, про что-то свое, бабье, глубоко, сожалеюще вздыхала, не спуская тоскующего, зовущего взгляда с запотевшей шеи и упруго шевелящихся под холщовой рубахой лопаток работника.

Через несколько дней против омута, за речкой Игрицей, люди увидели небольшое солнечное пятно – маленький кусок земли, освобожденный от лесного плена, а на куске этом – молчаливого парня, вытиравшего белым рукавом рубахи пот с веселого, открытого, улыбающегося лица. Девушка, проходившая напротив, видать, на мельницу, что стояла на правом берегу Игрицы, недалеко от Вишневого омута, невольно задержалась, а глянув украдкой на молодого светлого человека и как бы загоревшись от него, вспыхнула жарким пламенем и убежала, а потом долго не могла унять, угомонить разбуянившегося в груди сердечка. Рядом с этим парнем Гурьян Савкин, пришедший понаблюдать за странными делами незнакомого ему человека, казался еще темнее, чем был на самом деле. Грубо вырубленные черты его выступали особенно четко, и думалось, что сам сатана вышел из леса и зрит на дела человеческие с угрюмым неудовольствием. Бабы, ожидавшие со страхом, что Гурьян сейчас же ударит незнакомого человека пудовым своим кулачищем, немало подивились, когда Савкин постоял, постоял молча да так же молча и удалился прочь, не причинив парню никакого зла.

2

Окружив плотным кольцом «гулю» – великую бутылку с водкой, грузчики, оживленные, с маслено блестящими, загорелыми лицами, нетерпеливо поглядывали на старшего артели, который, как бы испытывая стойкость своих товарищей, не спеша, тщательно протирал грязной тряпкой жестяную кружку. Потом, очевидно, с той же целью, приподнял кружку на уровень глаз и, прищурясь, долго изучал ее, полуоткрыв рот. И только потом позвал:

– Мишка, подходи, что ли...

Старший артели да и все грузчики хорошо знали, что парень, к которому были обращены эти слова, не подойдет и не примет участия в веселом распитии «гули», но «для порядка» приглашали и его.

– Потчевать можно, а неволить нельзя, – философски заключил после небольшой паузы старший, довольный, похоже, тем, что полагающийся в подобных случаях порядок соблюден им полностью, что внимание к непьющему товарищу проявлено, совесть компании теперь чиста и, следовательно, можно спокойно начинать. К тому же по времени это совпало с той критической минутой, когда терпение ожидающих истощилось и когда один из них, шупленький, с быстрыми темными глазками паренек, неизвестно почему оказавшийся в артели грузчиков, жалостливо протянул:

– Давай, Федор, не томи душу.

– А ты, Карпушка, заработал? – угрюмо спросил старший.

– Креста на тебе нет, Федор! Как бы не я...

Грузчики засмеялись. Старший артели перекрестил зияющий черной дырой в густой волосне усов рот и начал медленно под тоскующими взглядами остальных выливать в него из кружки водку. Острый кадык его при этом ритмично дергался. Вторую кружку он наполнил для Карпушки, который торопливо схватил ее обеими руками, по-птичьему запрокинул курчавую голову и в один миг вылил в себя – только что-то уркнуло в его горле. Перекрестился уже после того, как вытер тыльной стороной ладони губы. Потом, коротая время, необходимое для того, чтобы старший обнес всех и приступил к разливанию по второй, Карпушка стал лениво глядеть на Волгу, наблюдать за грузчиками другой артели, перебрасывавшими с баржи полосатые астраханские арбузы. Это, однако, мало заинтересовало Карпушку, и он вновь стал тормозить Федора, чтобы тот не задерживался.

– Время не ждет, Федор. Поторапливайся.

– Ишь ты какой ретивый! Вот бы еще в работе был такой же проворный... Ладно, ладно! На уж вот, хлобыстни еще лампадку да отчаливай к Мишке, а нам не мешай. Мы соснем часок.

Карпушка притворно вздохнул и стремительно опрокинул предложенную ему вторую. Затем крякнул, изучающе глянул на остаток в бутылки, вздохнул еще – на этот раз уж без всякого притворства – и нехотя побрел к Михаилу Харламову. Тот лежал на песчаном откосе навзничь, положив большую свою светло-русую голову на закинутые руки, и синими, как это небо над Волгой, глазами смотрел вверх. Тихо, по-украински мягко пел:

Дывлюсь я на небо
Тай думку гадаю:
Чому я не сокіл,
Чому не літаю...

Карпушка своим приходом спугнул песню. Михаил, слышав шаги, приподнялся, сел, обхватив согнутые в коленях ноги.

– Ты все песни играешь, хохол?

– Играю, Карпушка. – Михаил улыбнулся чему-то, глаза его заблестели, увлажнились. – Есть у меня, друже, одна думка, великая думка... Ты был на Украине?

– А то рази! Я, Михаила, везде перебивал за свою короткую жизнь. И у хохлов, и у мордвы, и у татарьев, и у армянцев, и даже у турков был!

– Был, значит, на Украине. Добре. Видал, сколько там садов? Вернусь в Панциревку, куплю у Гардина за Вишневым омутом немного земли и посажу добрый сад, такой, какой был у нас на Полтавщине. Чтоб было в том саду все: яблони, вишни, терн, сливы, смородина, крыжовник, малина. Буду возить яблоки да ягоды в Саратов, продавать жирным купчихам, а на вырученные карбованцы покупать хлеб. Добре? Женюсь я... знаешь, Карпушка, на ком? Такая дивчатко!..

– Как не знать? На Улике Подифоровей, чай, надумал? Так, что ли? Только не отдаст за тебя свою дочь Подифор. Как пить, не отдаст! Беднее мы с тобой, Михаила. Одно слово – грузчики. Я уже заработал грыжу, скоро и ты ее, голубушку, заполучишь. Вот и привезем это богатство: ты – в свою Панциревку, я – своей Меланье в Савкин Затон. К тому же мы оба с тобой странние... – Карпушка говорил и не глядел на товарища, а когда глянул, так сразу же осекся: Михаил лежал, плотно зажмурившись, и побелевшие губы его под светлым пушком усов вздрагивали. Испугавшись, Карпушка поспешил исправить положение: – А кто его знает, может, и отдаст. Он не такой зверюга, как, скажем, Гурьян Савкин. Помягче маленько. Да и ты теперь при деньгах... Небольших, но все же при деньгах. Хозяином будешь. И я помогу тебе. Сам пойду за свата. От меня ни один пес не отобьется. Так окучу этого Подифора, что без всякой кладки отдаст за тебя Ульяну, да еще жеребенка-двухлетка и телку-полуторницу выделит в придачу. Зачнете жить-поживать, как в сказке.

При последних его словах Михаил открыл глаза и невольно улыбнулся. Потом опять насутился.

– Не уговаривай меня, Карпушка. Сам знаю, что не отдаст добром. Но ведь я ж хохол! – вдруг закричал Михаил. – Понимаешь, хохол! Хохол упрямый! Я им покажу всем. Вот увидишь. И Уля будет моя. Никому не отдам!

– И не отдавай. Они ведь, бабы, какие? Их красотой да силой надо брать. Вот тогда они сами вцепятся, как репы в собачий хвост, – не отдерешь. Был у меня, Михаила, такой случай... Погодь, сейчас вернусь и расскажу тебе все по порядку. – Карпушка проворно вскочил на свои короткие ноги и мигом очутился возле артельного, который собирался разлить грузчикам остаток, – вероятно, в продолжение всего разговора с Михаилом Харламовым Карпушка зорко наблюдал и за артелью, где оживление достигло того уровня, когда никто никого не слушает и говорят все сразу, бурно, горячо.

Получив свою толику и не опасаясь далее за все прочее, так как «гуля» была уже пуста, Карпушка вернулся к Михаилу.

– Бабы, они зверь капризный, – усаживаясь поудобнее возле приятеля, начал он, захмелевший и размягченный. – Был со мной такой случай... Ты, Михаила, наверно, помнишь барина Ягоднова? В двух верстах от Панциревки усадьба-то его?.. Ну да, конечно же помнишь! Сейчас бог знает как он там. Может, с тоски руки на себя наложил, а может, укатил куда с глаз долой... Ну и жену его, красавицу, помнишь небось? Утопилась в Вишневом омуте, сердешная, а отчего утопилась, знаешь?

– Слыхал. В гусара, говорят, влюбилась, кохалась с ним, а он утек от нее.

– В гусара, – обиженно передразнил Карпушка. – Много ты знаешь! Вот слушай, а не болтай пустое. Через нее, барыню, и очутился я на Волге, грузчиком вот пришлось вместе с тобой стать. Любил меня Ягоднов-то Владислав Владимирович. Я у него поначалу в работниках, а потом в приказчиках служил. А за что любил? Вот сейчас расскажу... Было нас у Ягоднова два работника: я да Афонька Олехин, он теперь в Савкином Затоне околачивается, Гурьянову сынку, Андрюхе, прислуживает. Выгнал его Владислав Владимирович. А за что выгнал? За

лень, за дурость Афонькину. Однажды вот какое дело было. Пристал Афоня к барину: «Почему Карпушке платите больше, чем мне?» Мы с ним, мол, в одинаковом чине-звании состоим. А Ягоднов ему говорит: «Вот сейчас я тебе все объясню, дурья твоя голова. Видишь, вон по выгону стадо овец идет? Бегите с Карпушкой и узнайте, что за овцы». Ну, мы и пустились во весь дух. Узнали. Возвращаемся. Дал он нам отдышаться и спрашивает Афюню: «Ну, Афанасий, докладывай, что ты там увидел?» Афоня выпалил: «Овцы шереметевские, вашескородие!» – «И все? Больше ты ничего не узнал?» – «Все, вашескородие!» – отвечал Афоня. Тогда Владислав Владимирович ко мне: «А ну, Карпушка, докладывай теперь ты». – «Овцы шереметевские, – говорю, – гонят их из Панциревки в Шереметевку на убой. Мясо на базаре подорожало. Овец в гурте двести штук – пятьдесят ярков, все перетоки, и сто пятьдесят баранов. Две овцы по дороге сдохли, три захромали, у одной в хвосте завелись черви, потому как собака ее покусала...» – «Хватит, Карпушка, – перебил меня барин и к Афюне: – Теперь ты понимаешь, олух царя небесного, почему я Карпушке плачу больше, чем тебе, хоть вы с ним и исполняете у меня одинаковую должность? Пошел вон, – говорит, – видеть тебя не могу больше!» А меня любил, не хвалясь скажу, любил. Вскороности после того случая с Афюней перевел меня в приказчики, и я у него всем хозяйством распоряжался. Владислав Владимирович мне все доверил, а сам то в Москву укатит, то в Петербург на цельную зиму. Барыню не брал с собой. Ну, вот... и попутал нас с ней нечистый, околдовал. Приглянулся я Людмиле Никаноровне...

Михаил крикнул в этом месте Карпушкиного рассказа, а Карпушка, как бы не заметив этого ехидного знака, продолжал, все более воодушевляясь:

– Выучила меня мазурку плясать. Французенка, тонкая и скрипучая, как сухая жердина, играет нам на фисгармонии, а мы с ней, с барыней, пляшем... Дальше – больше... Людмила Никаноровна стала уже помаленьку меня к себе в покои заманивать, в будувар по-ихнему, по-господски. Ну и... Бывало, лежим с ней в пуховиках, диколоном спрыснутые, а в груди так и екает, так и екает: не ровен час вернется барин. Хочу удалиться, удрать, по-нашему, а она не пускает, целует, да и только. «Я, – говорит, – без тебя, Карпушка, жить не могу. Ежеле, – говорит, – ты уйдешь, спокинешь меня, то я утоплюсь». Вот чего надумала!.. Выдал нас слуга, немец, колбаса вредная, ни дна бы ему, ни покрывки! «Поглядывайте, – говорит, – герр ваше превосходительство, за приказчиком-то. Не тут он, с барыней балует». А нам с Людмилой Никаноровной и невдомек, что беда уж близко, что барин все уже знает. Лежу это раз у себя в горнице, и, помню, хороший сон мне снился. Во сне все звал ее к себе, знаешь. А барин рядом был, ну, он и услышь. Тихонечко подкрался ко мне да ка-ак стеганет плетью! Я подскочил. А он меня хлещет, а он хлещет! Куда ни кинусь – везде достает. Секет и приговаривает: «Береги, разбойник, свою красоту для других, а не лезь к чужой бабе!» Ну выделал он меня, разукрасил в разные цвета по всем правилам. А потом – барыня ко мне, а я от нее. С той поры вот и хожу с рассеченным ухом...

– А говорят, тебе Подифоров кобель уши-то порвал?

– Дураки говорят, а ты их слушаешь. Брежут, сволочи!

– Ну а что с барынею?

– Известно что. Говорю, утопилась. Высохла вся, тонее французенки стала, когда я насосо всем исчезнул из ихней усадьбы. Почахла так с неделю, а потом прибежала к Вишневому омуту, камень на шею и...

Карпушка умолк и долго смотрел на сидевшего все в той же позе Михаила. Понял, что рассказанная им история нисколько не развеселила товарища. В синих глазах его, чуть потемневших от расширившихся зрачков, тлели, разгораясь, напряженные огоньки.

Михаил Харламов, а также все, кто был знаком с Карпушкой, знали, что в большинстве случаев вымыслом в его диковинных историях было далеко не все. Чаще Карпушка только приукрашивал, сдабривал собственной неистощимой фантазией то, с чем приходилось сталкиваться ему в его скитальческой, горькой до смешного, приключенческой жизни. Кто знает,

может быть, это приукрашивание было единственным щитом, которым Карпушка прикрывался от бесчисленных ударов неласковой к нему судьбы? Так это или иначе, но, чтобы пустить про себя какую-нибудь веселую историю, он нередко не останавливался даже перед материальными лишениями. Ему нравилось, когда люди добрые, страсть как охочие до всяких историй, говорили про него:

– А вы слышали, что опять с Карпушкой-то сотворилось?

Как-то в один из весенних дней, когда вокруг Савкина Затона бушевало половодье, Карпушке захотелось удивить соседа, хитрого мужика Подифора Кондратьевича Короткова.

Карпушка купил у затонского рыбака Гришки Аиста десять живых, только что вытасканных из вентерей щук, пустил их себе под печку, куда заходила по весне вода, а сам побежал к Подифору.

– Шабер! – торопясь, заговорил он. – Бери скорее сак, пойдем у меня в избе щук ловить. Спокою мне от них нету: бултыхаются, проклятые, под печкой. А сама боится: водяной, говорит, там. Бежим, кум!

Кум, конечно, сразу же смекнул, в чем дело, но виду не подал. Напротив, изобразил на своем лице крайнее удивление:

– Да ну! Не может быть!

– Вот тебе крест!

– Пойдем, Карпушка, пойдем!

Выловив щук, Подифор Кондратьевич сейчас же собрался домой.

– А мне толику! – крикнул удивленный Карпушка, видя, что сосед уносит всех щук.

– А тебе за что? – полюбопытствовал Подифор Кондратьевич. – Снасть-то моя. Купи, коли хочешь угостить свою Меланью рыбкой... Ну, бывай, шабер, а то мне неколи, на гумно пора ехать. Ежеле еще заплывут щуки, зови. Приду выручу!

– Выручил волк кобылу... – гневно заговорил Карпушка, но Подифор Кондратьевич уже успел хлопнуть дверью.

Так и пошла-поехала по селу новая история из странной жизни Карпушки, появившегося в Савкином Затоне годов шесть назад неизвестно откуда. Генеалогическое древо Карпушки не могла установить даже бабка Сорочиха, хоть ей и нельзя было отказать в усердии. Сорочиха обошла всю округу, побывала во всех окрестных селах и деревнях, наведывалась даже в барскую усадьбу, чтобы у самого Ягоднова выведать кое-какие подробности о его бывшем работнике, но и Ягоднов не мог сказать что-либо вразумительное. От самого же Карпушки и вовсе нельзя было узнать ничего путного. Он начинал изъясняться до того туманно, испугивал в памяти своей столько событий, не относящихся к делу, что и стоически терпеливая Сорочиха в конце концов не выдерживала и, не дослушав до конца, сердито поджав губы, удалялась. А Карпушка, ухмыляясь, приговаривал вслед ей:

– Ну и черт с тобой, старая ведьма. Уходи!

Впоследствии Сорочихе удалось все же как-то выяснить, что еще младенцем Карпушка был подкинут бедной матерью, по нечаянности родившей его в девках. Вырос он у чужих людей, затем скитался бог знает где. В Савкином Затоне объявился восемнадцати лет от роду, женился на одинокой Меланье, которая была старше его на целых семь лет и с которой что-то не ладилось у Карпушки. Видать, не от хорошей семейной жизни подался он на Волгу.

Теперь же, узнав о том, что его друг решил возвратиться к матери в Панциревку, Карпушка сообщил Михаилу, что вернется вместе с ним и попытается помириться с Меланьей.

– Довольно я погнул хребтину на этих саратовских купцов, – сказал он. – Поехали-ка, Михайла, в самом деле домой. Бог не выдаст – Меланья не съест!

3

Савкин Затон – селение давнишнее и судьбы необыкновенной. Окруженное сплошь княжескими и графскими владениями Шереметева, Нарышкина, Чаадаева, Кирюшонкова, Чекумазова, Гардина, Ягоднова, само оно в числе очень немногих не входило ни в одно из этих помещичьих владений, никогда не было крепостным, а принадлежало знаменитому в Подмоскowie монастырю. Сюда, в один из глухих, «болотных и лесных» уголков Саратовщины, высылались на работу узники монастырской обители – в основном беглые мужики северных окраин России, преимущественно владимирские и вологодские, – оттуда, видать, докатилось до Савкина Затона круглое и певучее «о» в говоре затонцев; это оканье и поныне отличает их от говора соседних сел и деревень. Здесь эти люди осушали болота, сеяли коноплю, лен, а позднее – рожь и пшеницу, занимались пчеловодством. К осени снаряжали большой обоз и под сильным конвоем вооруженных ружьями мужиков отправляли в монастырь за тысячу верст. Не все, понятно, попадало в монашеские кладовые и амбары; немалую долю добытого добра ухватистые затонцы оставляли себе и с годами поокрепли настолько, что начисто откупились от святой обители, построили свои прочные дубовые дома и стали платить подати уже не монастырю, а царевым чиновникам. Чиновники эти поначалу сильно лютовали, драли с мужиков три шкуры, но со временем смягчились, присмирели, сделались покладистей, поласковее, а какой продолжал лютовать, обязательно попадал прямо в Вишневы́й омут, и попадал туда, как свидетельствуют старинные бумаги, «по пьяну делу», чему никто из местных урядников не удивлялся: сборщики податей напивались у Савкиных медовой браги досиня и уползали от них по-рачьи, а таких омут только и ждал. Так что после несчастливо влюбленных барынь второе место по числу утопших в омуте занимали царские чиновники. Все жители села хорошо знали, что расправой над чиновниками руководил Савкин, но молчали: старик Савкин был пострашнее царевых слуг.

Не в устрашение ли сборщикам податей селение и было названо Савкиным Затонem? Затон – тоже нечто мрачное, темное, загадочное вроде омута. Как-то само собой получилось, что во главе нового поселения, его некоронованным владыкой и ревностным хранителем обычаев стал старик Савкин, прадед нынешнего Гурьяна Савкина, одним из первых посланный сюда из обители и проживший на свете девяносто девять лет.

В молодости он был смугл, черноволос и, вероятно, даже красив, но к старости оброс дремучей бурой бородой, так что, кроме глаз, рта и ушей, ничего не было видно, лишь кончик толстого, источенного оспой носа торчал из диких зарослей. Зимой и летом Савкин хаживал босой, отчего ноги его покрылись струпьями; короткопалые, толстые и широкие, они были похожи на слоновьи и на протяжении почти целого столетия уверенно попирали затонскую землю. Все сыновья, внуки и правнуки внешностью своей были в Савкина-старшего. Густая бурая волосня, в которой прятались маленькие, угрюмые, неопределенного цвета глазки, и все прочие черты Савкиного обличья были как бы постоянной формой, освященной родовыми традициями и потому строго почитаемой. У Савкина-старшего рождались только сыновья. Ходили, впрочем, слухи, что были и дочери, но Савкин дочерей не любил и топил их в Вишневом омуте, как слепых котят, едва они появлялись на свет божий. Дочери – плохие хранители фамилии, да и хлопотно с ними, с дочерьми, лучше уж их туда, в омут.

И вот этот-то Савкин был владыкой села. Символический скипетр свой он, умирая, передал сыну; сын – своему сыну, и так власть дошла до Гурьяна, который по свирепости не только не уступал прадеду, но во многом превосходил его. Без согласия Гурьяна никто не имел права поселиться в Савкином Затоне, а ежели кто и рискнул бы сделать это, то скорехонько очутился бы в Вишневом омуте или поломал бы себе шею.

Все ожидали, что такая именно участь постигнет и светлого парня, объявившегося неожиданно-негаданно в заповедных Савкиных местах и с неслыханной дерзостью начавшего выкорчевывать деревья, которые хоть и принадлежали помещику Гардину, но все равно находились под неотвратным бдением Гурьяна Савкина.

– Быть ему в омуте, – шептались затонцы.

Но проходили дни, солнечное пятно по левому берегу Игрицы продолжало увеличиваться, а парня никто не трогал.

– Не иначе как святой, коль сам Гурьян не поднял на него своей окаянной руки! – решила тогда Сорочиха.

С ней согласились, и любопытство, вызванное незнакомцем, удесятерилось. Многие тайне подумывали: а уж не пришел ли вместе с этим светло-русый богатырем конец гурьяновской власти, не послан ли он самим царем, чтобы укротить зверя, державшего селение в вечном страхе?

Начали припоминать, не видал ли кто раньше этого человека, и тут-то кто-то и объявил, что в соседней деревне Панциревке, выменянной когда-то Гардиным на двух гончих псов, проживает некая Настасья Хохлушка.

Ее привез сюда из Полтавской губернии с двумя детьми – двенадцатилетним Михаилом и восьмилетней Полюшкой – Аверьян Харламов, бывший работник Гардина, прослуживший в царской армии двадцать пять лет. Вскоре по прибытии на родину Аверьян умер, и Настасья Хохлушка осталась одна с сыном и дочерью. Потом сын, уже семнадцатилетний Михаил Аверьянович, куда-то пропал, а ныне, говорят, вновь объявился – его недавно видели возле Подифора Короткова двора, – и вот, может быть, это и есть он самый, тот парень, вызвавший так много разноречивых толков? В качестве разведчицы в Панциревку выслали бабку Сорочиху. Она-то и докопалась до истины.

В самом деле, появившийся против Вишневого омута, за Игрицей, молодой человек есть не кто другой, как Настасья Хохлушки сын Мишка.

– Купил, милые, у Гардина полдесятины леса и теперь сад хочет рассаживать, – повествовала Сорочиха.

– Са-а-ад?! – ахнули бабы. – Зачем же это... сад?

– А чтоб люди перестали Вишневого омута бояться.

– Так и сказал?

– Так и сказал. Он коли сад, от него, вишь, вся нечисть прочь убегает.

– Оно, мотри, и правда. Видали, как Гурьян-то почернел? Муторно, видать, стало окаянному.

4

Девушка, проходившая через плотину против Вишневого омута и невольно задержавшаяся при виде светло-русого парня, была Улька, Подифора Короткова дочь. Случилось с ней такое первый раз в жизни, и Улька не могла понять, что же это, как же это, что же теперь будет с нею. Ульке было и радостно, и страшно, и немножко стыдно, будто она сделала что-то тайное, запрещенное для семнадцатилетней девчонки. Прибежав к себе домой, часто дыша, она приблизилась к отцу, глянула снизу вверх ему в лицо большими своими, косо поставленными, татарскими, с живыми крапинками, испуганно-виноватыми глазами и, ни слова не говоря, чмокнула его в щеку. Раскрасневшееся скуластое лицо ее и даже прядь волос, выбившаяся из-под платка, спрашивали, торопили с ответом: «Тянька, правда, ведь нехорошо? Скажи, правда, тять?..»

Подифор Кондратьевич, привыкший к разным неожиданным выходкам дочери, ничего не понял.

– Ну, ты чего уставилась на меня? Приготовь пообедать, – глухо проокал он.

Улька подумала: «Вот ты какой недогадливый, тятка! Ну и пусть. И ничего худого я не сделала. И вовсе он мне не понравился. Я бежала, и сердце зашлось маленько. Что ж тут такого? Все пройдет... А что все? Ничего ведь и не было. Он даже не глянул на меня. Да я и не знаю его, нисколечко, ну, ни капельки не знаю. Он, верно, странный. А можа, и женатый. В Панциревке вон сколько красивых девчат!»

Последняя мысль больно обожгла Улькино сердце. Нахмурившись, она грохнула заслонкой печи и села напротив, на лавке, положив маленькие руки по-старушечьи на коленки. «Сам, что ли, не сумеет приготовить себе поесть! – думала она уже про отца. – Чугуны в печке, вынул бы да ел... А можа, и неженатый. Откуда я взяла, что женатый? Один вон работает... Да ну его совсем, что он мне?»

Решив так, Улька спокойно накрыла на стол, позвала отца, и в тот момент, когда он входил в избу, у нее созрело новое решение – сейчас же сбежать еще раз на плотину. Зачем? Вот это еще надо придумать. «Ну, мало ли зачем? Просто так, пойду, и все... прогуляться».

Улькин ум был неопытен, неизворотлив, он не смог приготовить для нее подходящего предложения, чтоб она могла уйти из дому, и Улька, в решительности своей поставив брови как-то торчком, сказала первое, что пришло в голову:

– Тять, ты обедай, я пойду... коров встречать.

– Коров? Ты, дочь, мотри, с ума сошла! Ведь только полдень.

– А я нынче пораньше. К подруге зайду.

– Ну, ступай.

Подифор Кондратьевич посмотрел на дочь с недоумением и вдруг увидел, что она уже совсем-совсем взрослая.

«Девка!» – подумал он с неприязненным удивлением и поморщился. Им тотчас же овладело ревнивое, враждебное чувство к тому пока что неизвестному человеку, который придет однажды в его дом, в тот самый дом, где он, Подифор, царь и бог, придет, возьмет Ульку и уведет с собой. И Подифор Кондратьевич останется один в своем большом новом доме, со всем своим крепко замешенным хозяйством. И это будет, это неотвратимо, как старость, как смерть.

Подифор Кондратьевич и раньше знал, что так будет, а нынче, глянув на дочь, почти с физической ясностью ощутил, что это случится обязательно и очень даже скоро и что в таком деле он не властен. И если он что-то еще и сможет предпринять, так только то, что постарается отдать Ульку в хороший дом.

«Соплячка, ребенок еще!» – противореча себе, подумал он, когда Улькин платок мелькнул за окошком.

5

Улька шла быстро-быстро по направлению к Вишневому омуту и думала о том, как же нехорошо она поступает, что идет только затем, чтобы еще раз увидеть незнакомого ей, в сущности-то, парня. «Как же тебе не стыдно, Улька! – отчитывала она себя. – Бесстыжие твои глазоньки! И кидаешься ты на первого попавшегося?» Потом ей стало жалко себя: «Да ни на кого она и не кидается. Что вы пристали к девчонке! Вот только глянет разок и пройдет мимо – и все тут, велика беда!» – защищалась она от кого-то и от себя самой.

Вдруг Улька замедлила шаг, ноги у нее словно бы подломились, кровь бросилась в лицо, в голову, даже корни волос защемило.

Прямо ей навстречу по плотине шел этот высокий, этот светло-русый и еще издали улыбался ей, Ульке, как давно знакомой и желанной. Улька, защищаясь – теперь не только от себя самой и от кого-то неизвестного, но уж и вот от этого парня, – вмиг решила, что пройдет мимо с безразличным видом и покажет этим, что ей до него нет никакого дела, что ей решительно

наплевать и на его красоту, и на его улыбку, и что он сам по себе, а она сама по себе, и пусть он не думает, что она какая-нибудь такая...

Не успела Улька подумать до конца, как парень поравнялся с ней и преградил дорогу.

– Здравствуй, дивчатко! А я тебя знаю. Ты Уля Короткова. Я правду говорю? – просто спросил он совсем добрым и совсем не нахальным, с мягким украинским выговором голосом, и Улька, отбросив прочь все свои прежние, казавшиеся ей весьма разумными соображения, ответила, вся пылая:

– Правда, Уля. А тебя как звать?

– Михайло Харламов. Не слыхала? Из Панциревки я. Тебя я видал много раз зимою, когда к матери приезжал...

Вот и все, что могли сказать друг другу при первой встрече парень и девушка, да еще такие красивые, да еще думавшие за минуту до этого только друг о друге, да еще неопытные и смешные в своей беспомощности. Наступила неизбежная в таких случаях неловкая, мучительно-стыдная пауза, и был лишь один-единственный выход, которым не хотелось бы воспользоваться никому из них, – это сказать друг другу «до свиданья» и разойтись в разные стороны, а потом долго ждать, когда выпадет еще такой момент, чтобы встретиться.

И они сказали «до свиданья», и разошлись, страшно, до слез досадуя на себя и друг на друга, что такие они глупые. Особенно досадовал Михаил, справедливо полагая, что ему-то, мужчине, следовало бы быть посмелее, порешительнее, а он вот растерялся.

Минуло потом немало дней, прежде чем они опять повстречались, затем повстречались в третий, в четвертый... в сотый раз, прежде чем однажды решено было, что назавтра в ночь Михаил придет к Улькиному отцу, придет сам, потому что сватов Подифор Кондратьевич выгонит, и тогда ничего, кроме Улькиного и его, Михаила, конфуза, не выйдет из всего этого дела.

6

На другой день вечером, когда над селом стыла дремотная знобкая дымка, прижимая к земле поднятую стадами овец и коров пыль, когда под низким месяцем светился круглый, темно-бордовый и холодный глаз Вишневого ому́та, когда оказавшийся на улице человек чувствует себя властелином чуть ли не всей вселенной, Михаил Харламов приблизился к Подифорову двору.

Огромный рыжий пес свирепо зарычал, громыхнул цепью, но тут же притих, приветливо замолотил хвостом, узнав Михаила, – тот каждую ночь провожал до калитки Ульку, и Тигран привык к нему.

Улька, прильнув к окну, увидела у ворот высоченную фигуру, и сердце ее сжалось. Михаил в белой вышитой украинской сорочке, залитый лунным светом, смотрел на Ульку, делая ей разные знаки. Затем вплотную подошел к окну, и Улька увидела его блестящие глаза.

– Выйдь, Уля! – вполголоса просил он. – Выйдь, слышь, Уль? Выйдь!

Розовое пятно пропало, и Михаил услышал торопливые шаги босых лог.

– Миша, ты где?

– Вот я.

Совсем крохотная рядом с ним и теплая, мягкая, источавшая тревожный запах девичьей постели, она замерла у него на груди, прислушиваясь к частому и гулкому стуку его сердца. А он, сжав большими, шершавыми, в мозолях горячими ладонями ее маленькую голову, целовал в холодные, вздрагивающие сухие губы.

– Будя... Ну будь же... Отец увидит, – просила Улька, легонько отталкивая его от себя. Наконец высвободилась и отпрянула к завалинке, испуганно счастливыми глазами глядя на Михаила.

Тот стоял на прежнем месте, тяжело дыша:

– Ну, Уля, я пойду...

Видно было даже при свете луны, как она побледнела.

– Иди, Миша. Ой, страшно как! – Плечи Ульки зябко передернулись.

Михаил опять приблизился к ней и притянул к себе, обнял, грея. Она не сопротивлялась, покорно и доверчиво глядя на него сузившимися глазами, в которых мерцало, переливалось что-то живое, трепетное.

– Иди, иди, Миша. Он дома.

Подифор Кондратьевич тем временем беспокойно ходил по избе, что-то решая. С той минуты, как он сделал для себя неожиданное открытие, что дочь его стала совсем взрослой, тревожное чувство ожидания неизбежного не покидало его. Всякого парня, проходившего мимо их дома, он провожал тяжелым, холодным взглядом своих темных, как у дочери, татарских глаз и мысленно давал каждому самую нелестную характеристику. И выходило, что все-все затонские и панциревские ребята – кроме разве Андрея Савкина, для которого Подифор Кондратьевич делал исключение, потому что в тайнике души мечтал выдать за него Ульку, – все, значит, затонские и панциревские ребята – сопляки, вертопрахи, бездельники, хулиганы, матерщинники и сукины дети, за которых он ни за что на свете не отдаст своей дочери. В отношении же Ульки Подифор Кондратьевич испытывал примерно то же чувство, что и в отношении вероятных ее женихов, – чувство глубокой ревности, к которому еще прибавилась острая и горькая обида, знакомая всем отцам на свете и выражавшаяся приблизительно одними и теми же словами: «Вот растишь ее, нянчишь, кормишь, сам недоедаешь, ночей недосыпаешь, а станет большой, выйдет замуж и забудет про отца родного».

Подифор Кондратьевич вырастил свою дочь один, без жены – Улькина мать умерла, когда девочке было три года, – поэтому предстоящая неизбежная разлука с Улькой была тяжела ему вдвойне, и теперь он очень жалел, что Аграфена Власовна родила ему дочь, а не сына, который остался бы в родительском доме покоить старость отца и умножить его богатство, как полагается настоящим наследникам. А Улька – что ж, ее разве удержишь! И вот теперь та страшная минута, которую он ждал с такой тревогой, пришла, приблизилась к их порогу...

Однако, когда дверь распахнулась и в ней появилась громадная фигура молодого хохла – так Подифор Кондратьевич звал Михаила Харламова, – он уже решил, что ему делать. Торопливо зажег лампу.

– А, Михаила Аверьянов... Милости прошу... Брысь, ты! – швырнул он со стула кошку. – Прошу присаживаться. Отчего так припозднился? Чем могу... Зачем пожаловал?

Михаил сел на пододвинутую ему табуретку. Слова, которыми он вооружился заранее, куда-то пропали. Михаил мялся. Подифор Кондратьевич, незаметно взглядывая на него, терпеливо ждал.

– Ты, кажись, хотел что-то сказать мне? – решил наконец помочь парню – не столько для того, чтобы вывести его из затруднительного положения, сколько для того, чтобы поскорее покончить с тяжким и неприятным для себя делом.

– Хотел...

– Что ж? Говори.

Михаил встал, шагнул к Подифору Кондратьевичу.

– Отдайте за меня Улю!

Подифор Кондратьевич помолчал, вздохнул:

– Сразу выдать: зелен, неопытность. Разве такие дела одним махом делаются? Ну, положим, отдам я за тебя Уल्याну. А завтра ты ее с детишками по мирупустишь: ни кола ни двора, никакой скотины ведь у тебя нету...

Подифор Кондратьевич умолк, ожидая, что будет говорить этот вдруг притихший и присмившийся парень.

Михаил тоже молчал.

– Вот то-то и оно, Михайла Аверьянов, – тяжело вздохнув, снова начал Подифор Кондратьевич. – Не отдам за тебя Ульяну. Разве я враг своему дитю? Хочешь, иди к нам в зятя! – вдруг предложил он, весь просияв. – Я уж при годах. К старости дело идет. Будешь хозяйство вести.

– Нет, Подифор Кондратьевич, в зятя не пойду. – Михаил взглянул на хозяина в упор, и Подифор Кондратьевич увидел, что в глазах этого смиренного парня зажглись упрямые, напряженные огоньки. – У меня есть своя хата в Панциревке. Малая, да своя. И хозяйство у меня будет свое. Вот они, видишь? – И Михаил тихо положил на стол железные свои ручищи. – Все сделаю! Посажу сад – вот нам и хлеб и деньги. Только отдай за меня Улю, Подифор Кондратьевич.

– Ну, дело твое. Не хочешь – не надо. А насчет сада ты, Аверьяныч, зря торопишься. Поломает тебе ребра Гурьян Савкин. Поосторожней, парень. С ним шутки плохи. К тому же Ульяна ихнему Андрюхе приглянулась. Не ровен час сбросят в омут – и концов не найдешь...

– Я не боюсь Савкиных. И Вишневого омота не боюсь! Что вы страшаете им! Никого и ничего я не боюсь! Вы только отдайте мне Улю, век вас буду помнить, Подифор Кондратьевич!

Подифор Кондратьевич подумал, раз и два глянул Михаилу в глаза, в которых, казалось, вот-вот закипят слезы.

– Ульяна, чего ты там стоишь? А ну, марш в избу! – крикнул он в раскрытое окно.

Вошла Улька и, не глядя ни на Михаила, ни на отца, быстро шмыгнула в горницу.

– А ну поди сюда, дочка, – вернул ее отец.

Улька подошла к нему, устремив на него свои черные глаза, – она слышала весь их разговор, укрывшись у завалинки, – они, эти ее глаза, умоляли: «Тятенька, я хочу... тятенька, не губи, пожалей меня... Тятенька, он хороший, сильный, я люблю его!»

Подифор Кондратьевич как-то виновато и жалко замигал глазами.

– Да я ничего... Да разве я враг своему дитю! – повторил он и поморщился. Дрогнули рыжая борода, губы. И, как бы мстя за минутную свою слабость, за то, что чуть было не смягчился, закричал хрипло, бешено вращая белками: – Ишь чего надумали! Не бывать этому! Слышь, Ульяна, не бывать никогда!..

Улька со странно изменившимся, решительным лицом рванулась к двери. Отец, однако, успел подхватить ее за рукав.

– Ты куда, с-с-сучья дочь? Убью... дрянь такую!

– Пусти, пусти! Все равно мне не жить! Пусти! В омуте... утоплюсь!..

– Цыц, мерзавка! – Подифор Кондратьевич с перекошенным от дикой ярости лицом толкнул Ульку в горницу. Повернулся, багровый, к Михаилу. Тот, бледный, злой и насмешливый, стоял у выходной двери, и выражение лица его лучше всяких слов говорило: «Кричи, старик, запирай свою дочь, держи ее под семью замками, казни нас с ней обоих, а победитель-то я, а не ты, потому что она меня любит!»

– До свиданьчика, Подифор Кондратьевич.

Михаил поклонился и тихо вышел во двор. Долго искал щеколду у ворот, не нашел, легонько нажал на них плечом. Треснули где-то внизу и с шумом рухнули наземь. Отошел уже с полверсты, потом вернулся. Подифор Кондратьевич копался возле ворот один. Михаил нагнулся, и, ни слова не говоря друг другу, они подняли ворота, поставили их на место, тихо разошлись.

Пели вторые петухи. С неба в притихшее озеро Кочки капали теплые звезды. В осоке сонно крякали утки. В хлевах, чувствуя приближение утра, мычали коровы. В мутном, побледневшем воздухе неслышно носились летучие мыши. Наквакавшись вдоволь, крепким сном спали лягушки.

Михаилу было жарко. Расстегнул ворот рубахи. Струя холодного воздуха ворвалась за пазуху, освежила грудь.

Михаил присел у озера и надолго застыл в одной позе. Кто-то пел в селе:

Звезды мои, звездочки,
Полно вам блистать,
Полно вам прошедшее
Мне напоминать.

Звезды послушались и одна за другой начали гаснуть.

На востоке, кровеня макушки деревьев и колокольню, поднималось солнце. Пастух хлопнул кнутом. Из своей избы – он вновь, как блудный сын, был принят Меланьей – вышел во двор сонный Карпушка. Дом Меланьи стоял у самых Кочек, и Михаилу видно было, как, задрав синюю холщовую рубаху до самой головы, Карпушка нещадно скреб спину, сладко позевывая. Из соседнего, Подифорова, двора доносились звуки: жжжу-жжжу. Это Улька доила корову, торопясь выгнать ее к стаду. Оттуда до Михаила и, очевидно, до Карпушки доходил раздражающий запах парного молока. Слышно было, как корова, шумно и тяжело дыша, жевала серку.

Начесавшись властью, Карпушка снова юркнул в избу. А через минуту появился опять – «согнать скотину». Скотины у них с Меланьей – одна овца, приобретенная хозяйкой в отсутствие мужа.

– Шабер, а шабер! – крикнул Карпушка через плетень вышедшему к себе во двор Подифору Кондратьевичу. – Овец не пора ли выгонять?

– А ты свою ярчонку к моим пусти да иди спать, – сонно и не без ехидства отозвался Подифор Кондратьевич.

Михаил быстро приподнялся и пошел к Карпушке – более близкого человека в Савкином Затоне у него не было.

В эту ночь мать его, Настасья Хохлушка, так и не смогла заснуть. Она несколько раз подходила к окну и всматривалась в темноту.

– Ой, лишенько! Время-то зараз какое, господи! Убьют его там – звери ведь живут в Савкином Затоне, а не люди. Нашел, где сватать!

7

В следующий вечер к Подифору Кондратьевичу собрался Карпушка. Принял он это более чем рискованное решение вопреки желанию Михаила Харламова. Карпушка загодя составил в уме своем грозный монолог, с коим намеревался обратиться к упрямому и несознательному Улькиному отцу, и теперь очень боялся, как бы не забыть приготовленной речи.

Торопливо вышел на улицу.

Полный месяц, вчера еще весело и дерзко скользивший по чистому и звездному небу, заплутался где-то в темных лохматых тучах и теперь никак не мог выкарабкаться из них. Моросил дождь. На кончике Карпушкиного носа и на его ушах покачивались, как сережки, мутноватые щекочущие капельки.

Карпушка думал о том, какую большую радость доставит он своему приятелю, когда наутро, а может быть, еще этой ночью сообщит ему, что Подифор Кондратьевич сдался наконец и теперь согласен выдать Ульку.

Карпушка улыбнулся по-детски счастливо, потрусил быстрее, но в десяти метрах от Подифоровой калитки резко замедлил шаг, а потом и вовсе остановился в нерешительности: во дворе грозно зарычал Тигран, давно почему-то невзлюбивший Карпушку.

Встретившись с этим непредвиденным препятствием, Карпушка задумался. Ему бы постучать в окно и покликать хозяина, но он почему-то побоялся. Порылся у себя в карманах в надежде отыскать хоть какой-нибудь завалящий сухарик, но, кроме ржавой чекушки, которую подобрал в поле третьего дня, в них ничего не оказалось. Попытался задобрить кобеля словами:

– Тигран... Тю ты!.. Не признаешь, глупый... Тиграша...

Пес выжидающе примолк. Но стоило Карпушке сделать один шаг к калитке, Тигран зарычал еще яростнее.

– Что ты на меня брешешь, зверюга глупая? – стал увещевать собаку Карпушка. – Поганая ты тварь! Не вор я, не разбойник и не конокрад какой-нибудь вроде Тишки Конкина, а самый что ни на есть мирный житель Савкина Затона. Вот кто я есть! Понял, неразумная ты скотина?.. Ну, бреша, лай, черт с тобой! Держите взаперти Ульяну... Будет старой девой, никто ее не возьмет – кому она тогда нужна? Переспелая девка не шибко сладка. Только в монашенки годится да в наложницы к старому барину Гардину, у которого и хотенье-то приходит раз в году, да и то в Великий пост, когда грех таким делом заниматься... Вот до какого сраму доведете вы свою Ульку! Проклянет она тебя, Подифор Кондратьич, на всю жизнь проклянет, попомнишь ты мое слово!.. Видал, какая ты цаца, Михаил ему, вишь, не показался! А найдешь ли ты, кособородый и рыжий чертила, татарская твоя душа, зятя лучше Мишки Хохла? Всю землю обойди – не отыщешь такого красавца да умницу!..

Тигран кидался из стороны в сторону, захлебывался в ярости, рвал страшными клыками доски в воротах. И чем больше он свирепел, тем гневнее была Карпушкина речь:

– И не ори на меня, Кондратьич, я тебе не работник! На меня Ягоднов так не орал. Погодь, слезами горячими изойдешь, когда Ульяна повесится на твоём же перерубе аль в Вишневом омуте утопнет, как молодая Ягодниха.

И будешь ты, старый хрыч, слоняться по белу свету безумный, как Паня Колышев. И все-то будут над тобой потешаться, а ребятишки, само собой, показывать тебе язык... Добро твое Сergyа Ничей разворует, и подохнете вы вместе со своим Тиграном. Выбросят вас в канаву, в которой валяются только пьяные мужики да дохлые кошки!..

А тут еще всплыла давняя обида на Подифора Кондратьевича, занозой торчавшая в не очень-то злопамятном сердце Карпушки.

В совсем недавнюю пору, когда Карпушка делал отчаянные усилия, чтобы выбиться в люди, стать настоящим хозяином, Подифор Кондратьевич продал ему по дешевке – «в знак дружбы» – полуторогодовалую телку, заверив, что к Вербному воскресенью она отелится.

Карпушка сам недоедал, а все кормил свою Зорьку. Поил ее только теплым пойлом, скармливал последние тыквы. Телка на глазах жирела, не показывая, однако, признаков починания. Карпушка каждое утро заглядывал ей на власьце, но оно оставалось неизменным. Иногда Карпушке мнилось, что власьце припухает, но, выйдя к Зорьке вечером, он горестно замечал, что все остается по-прежнему. Вербное воскресенье прошло, а Зорька все не починала. Напрасно Меланья трепала ее за пустые соски.

Однажды – это было уже после Пасхи – Зорька обрадовала было супругов. Карпушка с утра заметил ее грустный вид, а также то, что Зорька как-то подозрительно-странно виляет хвостом. «Значит, телиться надумала. У молодых-то коровенок так бывает. Нет-нет да сразу!» – решил хозяин и стремительно помчался в избу. Истоиво перекрестился, молвил тихо и торжественно:

– Ну, Меланья, видно, дождались...

– Ой, неужто правда? Слава тебе господи...

– Ноне, должно, – озабоченно сказал Карпушка и заторопился. Заметалась по избе и Меланья, даже забыла посадить в печку хлебы, которые уже выпирали в разные стороны из квашни.

Пастуху они наказывали:

– Последи, Вавилыч, последи, родимай.

Вавилыч обещал последить.

Весь день Карпушка и Меланья провели в тревожно-радостном волнении.

Меланья даже всплакнула.

– Задавят теленочка-то быки. Зря мы Зорьку в стадо пустили. – И вдруг, прекратив плакать, грозно обрушилась на мужа: – А все ты виноват! Никудышный из тебя хозяин!

Она заставила Карпушку принести сухой соломы и постелить у порога для теленка.

– Вот бы Бог послал телочку. – И Меланья крестилась на икону.

– Непременно будет телочка. Кому ж и быть, как не телочке. Я в боку щупал...

– Не дай бог! – внезапно вспомнила Меланья. – Коли телка, то корова не будет прибавлять молока после каждого отела. Нет, лучше бы Господь Бог смилостивился на бычка!

– Ну вот, видишь, ты какая!.. Кто его знает, можа, и бычок... наверняка бычок... Я щупал... брыкается так... – выкручивался Карпушка.

Меланья спешно принялась готовить горшки, промывать их и прожаривать.

Карпушка в деревянном полу навертел дыр, куда бы могла стекать моча...

Каково же было их удивление, когда вечером как сумасшедшая, с отброшенным в сторону хвостом, в сопровождении громадного «мирского» быка, прямо во двор примчалась их Зорька. Карпушка так и остолбенел, тупо глядя перед собой остановившимися глазами. А Меланья, завидя во дворе страшного быка и свою телку, ахнула, уронила горшок.

– Только еще гуляется! – наконец сообразил Карпушка. – Вот нечистая сила! Ах, рыжий разбойник! Надул, обманул, бандюга! – проклинал он соседа.

И вот сейчас, вспомнив про все это, Карпушка до того разошелся, что уже не мог остановить своей горячей обличительной речи. Тигран, видимо, устав состязаться с ним, притих, но тут хлопнула сенная дверь и послышался глуховатый, давящий на «о» голос Подифора Кондратьевича:

– Кто там?.. Кого нелегкая?.. Тигран, назад!

Карпушке же показалось, что во дворе крикнули:

«Тигран, взять его!» – и он, мгновенно утратив воинственность, с необычайной прытью бросился наутек.

Лишь добежав до Панциревки, в которой проживал со своей матерью и сестренкой Михаил Харламов, Карпушка остановился, чтобы перевести дух, а заодно и поразмыслить над тем, что же с ним содеялось такое и как он сообщит обо всем этом Михаилу, который предупреждал, что ничего путного из Карпушкиной затеи выйти не может.

«Однако ж я ему все, как есть, выложил, старому жадюге!» – не без бахвальства подумал незадачливый сват, всерьез полагая, что разговаривал сейчас с самим Подифором Кондратьевичем, а не с его псом, который в действительности был единственным и к тому же не слишком внимательным слушателем страстной Карпушкиной речи.

8

Тяжелая работа на месте будущего сада продолжалась. Лес медленно отступал перед человеком, оставляя после себя рыжие шары вывороченных из-под земли пней. Возле них зияли глубокие воронки, в воронках брезжила успевшая отстояться ослепительной чистоты вода. С подсыхавших обрубленных корневищ и кудельной мягкости и тонкости мочковины осыпалась черною крупю земля. Она четко выделялась на белом песчанике, пятнала его, делала нарядным.

Близилась осень, и человек торопился: саженцы лучше приживаются, когда их погружают, уже уснувших, в студеную осеннюю землю. Очнувшись по весне, они недолго будут хворать, а сразу же потянутся к солнцу, к жизни. Теперь Михаил Харламов трудился и ночью. От

зари и до зари за Игрицей не потухал костер. В качающихся его отсветах то и дело вырастала согбенная фигура работника. Вокруг нее золотой россыпью дымилась туча комаров и мошек – даже костер не мог отпугнуть этой тучи от потного горячего тела. И только когда Михаил резко выпрямлялся, когда из его груди коротким стоном в такт ударам топора исторгалось «и-и-и, гек!», туча колебалась, то поднимаясь вверх, то отмахивая в стороны. Через равные промежутки времени доносился сочный, вязкий хряск обрубаемых корневищ и сучьев, изредка – тонкий, вибрирующий звон топора, встретившегося с железной крепости стволом старого дуба. Разбуженные птицы метались в красном зареве костра и над рекою, роняя то негодующие, то тревожно-жалобные клики. Коростель скрипел и трещал неумолчно. Ему вторил удод: «Худо тут, худо тут, худо тут». Далеко, в глубине леса, дважды провыла волчица. Ее долгое, стнящее, знобящее душу «у-у-у-у-э-э-э-а-а-а» всполошило собак в Панциревке и Савкином Затоне, и собаки подняли неистовый трусливый лай. Люди, сидевшие на правом берегу Игрицы и, лениво переговариваясь, наблюдавшие за ночной работой человека, вдруг примолкли, кто-то перекрестился, прошептал молитву; потом группами стали расходиться по домам.

На берегу Игрицы остались лишь две маленькие фигурки, плотно прижавшиеся друг к другу.

– Страшно, Уль?

– Страшно, Полюшка. Вот как страшно!

– А ты не бойся. Братику мой сильный.

– Я не за него – за себя боюсь.

– Ты что?

– Тятка... За Савкина Андрея меня...

За рекой надолго замолчал топор. Потом оттуда послышалось:

– Полинка, это ты! Иди спать!

Улька зажала холодной ладошкой Полюшкин рот.

– Не отвечай! Молчи, родненькая! Молчи! Пойдем отсюда. Я тебя провожу.

Схватившись за руки, они побежали прочь от реки.

За Игрицей вновь раздался удар топора. Щепки красными птицами вспорхнули вверх, трепетно покружились в воздухе и, дрожа, медленно опустились на землю; взлетели коротко отрубленные сучья и с сухим пением упали в реку; потревоженные ими, из прибрежных зарослей поднялись дикие утки и, со свистом рассекая воздух, улетели куда-то в густеющую чернь ночи; с берега тяжело шлепнулись в воду лягушки; синей молнией с пронзительным криком вдоль реки, едва не касаясь водяной глади, сверкнула птица-рыболов; уныло и одиноко прогудел водяной бык. Над Игрицей невидимый кто-то опустил паутиной тонкости и прозрачности вуаль. Река задымилась прохладой. В Вишневом омуте, проснувшийся раньше всех, озорно вскинулся сазан, погнав во все стороны торопливые круги. Игрица заголубела, заулыбалась приближающейся утренней заре. Вишневый омут по-прежнему стыл в угрюмой, немой неподвижности и был чернее уходящей ночи. Никто, казалось, не смел беспокоить тяжелой его дремы. А за рекой стучал и стучал топор. Лес отвечал ему покорным шелестом желтеющих листьев, нарастающим шумом падающих деревьев.

За Игрицей появился Карпушка.

– Михайла, ты скоро зашабашишь?

– Скоро. А ты плыви сюда!

– Это как же я поплыву? Я не дерьмо какое, чтобы поверху бултыхаться. Давай лодку!

– Новость, что ли, несешь?

– «Вестей-новостей со всех волостей», как говорит Илька Рыжов. Ты спереж перевези, а тогда уж и допытывайся. У меня глотка не луженая, чтоб так кричать. Голос свой берегу. Меня недавно в церковный хор приняли. Вчера на спевке был – тенор у меня объявился. Регент похвалил. Велел только поболее сырых яиц глотать. А отколь они у меня, яйца-то? Своих курей

давно хорь подушил, а Меланья не несется... Ну, давай, давай, гони лодку! Что уши развесил? Копаешься, как жук в навозе, а счастье не воробей, вылетит из рук – хрен пымаешь. Давай лодку, говорю! Слышь?

По нарочито игривому, что-то скрывающему и не умеющему скрыть голосу Карпушки Михаил понял, что случилось неладное, и заспешил к лодке, которую он недавно выдолбил из сухого осинового комелька. Раздвинулись, жестко зашелестели камыши, и маленький челнок сразу же оказался на середине Игрицы.

Карпушка нетерпеливо ходил по берегу, теребил свои аспидно-черные кудри.

– Проворней, проворней, Михайла! Экий ты увалень!

Михаил причалил лодку, легко, одним рывком выдернул ее из воды почти всю на берег, поздоровался:

– Здравствуй, Карпушка!

– Здорово живешь!.. Да не жми ты так лапищей-то! Не можешь, что ли, потихоньку да полегоньку! – Карпушка потряс занемевшими пальцами, по-детски подул на них. – Слушай, что я тебе скажу. Ульяну твою просватал Подифор. За Савкина Андрея. Нонешней ночью, пока ты тут ковырялся, запой был. Не поскупился Гурьян кладкой – корову, которая у него вторым телком пошла, три овцы, шубу новую, лисью, шесть ведер вина да сто рублей деньгами отвалил за невесту. Дорого мой соседюшка, рыжий кобелина, продал свою дочь! Пили-гуляли до зари, до третьих аж кочетов, я все время у окна, под завалинкой проторчал. Тиграну столько кусков перекидал – на неделю б нам с Меланьей хватило...

– Ну а Уля... Она что?.. Как она?.. – В горле у Михаила закипело.

– Ну как? Известное дело как. Прибегла откель-то, глянула в окошко: а они тут как тут, сидят. Сваты. Затряслась вся, подкосились у нее ноги, чуть было не грохнулась – подхватил я ее. Кинулась ко мне на шею. «Карпушка, – кричит, – родименький, спаси хоть ты меня!»

Взял я ее да и отвел к себе, а Меланья сказал, чтоб заперлась и никого не пускала. А сам скорее сюда, к тебе. Вот ведь какие дела, Михайла! Мой тебе совет: забирай Ульяку и мотай за Волгу!..

– Не могу я так, Карпушка. Мать и сестру не могу оставить. А потом мой сад... Что будет с ним?.. Да и грех без родительского благословения...

– Ну и дурак! «Грех»! А ему, родителю этому, не грех девчонку без любви, без желания в чужие люди отдавать, к таким зверям? Эх ты! Да я бы на твоём месте... – Карпушка вздрогнул и замолчал: в Вишневом омуте, под навесом старого тальника, среди замшелых коряг темной глыбищей всплыл сом и раза три кряду ударил по воде хвостом. – Чертяка! Напугал... Аж вспотел! – вытирая рукавом лицо, виновато пробормотал Карпушка. – Ну, так как же ты?

– Никуда я не поеду. Уле передай: пускай не дает своего согласия.

– А оно и не требуется, ее согласие. Как отец порешил, так тому и быть. Ныне запой, а на Покров – свадьба. И нет Ульяки. Будет рожать сынов-богатырей для Савкиных...

– Ну, ты вот шо...

– Молчу, молчу! Ишь набычился! Поступай как знаешь, ежели не хочешь принимать моих добрых советов.

Из-за леса медленно подымалось солнце. Первый луч его рассек макушку высоченного дуба и, точно брошенная плашмя сабля, лег на воду, криво вонзившись в плотину. К светлой этой дорожке тотчас же устремились миллионы шустрых мальков, зарыбили водную гладь, словно бы ее кто-то невидимый расчесывал гребешком, засверкали жемчужной, микроскопической своей чешуйкой, заиграли, запрыгали. Вот уж быстрыми, прямыми саженками пунктирно поскакал по воде паучок-водомер. Кувыркнулся и пошел вертикально вниз темно-коричневый жук-плавунец. Неподвижно повис в воздухе коромыслик глазастой стрекозы. Из-за леса по синеющей, чистой небесной шири, лениво поводя горбатым клювом и просторно раскинув радужные крылья, плыл коршун.

– Пойдем до тебя, Карпушка, а? – сказал Михаил, проводив пернатого разбойника долгим печальным взглядом своих синих, небесных глаз.

– Не. Так не годится. Увидют – и все пропало. Ты лучше плыви обратно на тот берег, а я к тебе ее лесом, со стороны Смородинника, приведу. Как свистну два раза, ты и выходи навстречу. Понял? Ну, стало быть, и лады. Плыви, плыви! Да и не горюй больно-то, не вешай буйну голову, авось все обойдется. У Бога-то есть глава ай нету? Ну, давай, давай!

– Спасибо тебе! – Михаил порывисто шагнул к Карпушке.

– Только без объятий. Мне мои косточки еще сгодятся. Лезь, говорю, в лодку!

9

Улька составила свой план. На его обдумывание ушли почти вся ночь и утро, пока Карпушка ходил на Игрицу, к Вишневому омуту, Меланья отгоняла в стадо овцу, а Подифор Кондратьевич в страшном смятении бегал по селу, отыскивая, где могла ночевать его непутевая дочь. Улька теперь уж и сама считала себя непутевой, потому что ее план был и дерзостен, и неслыханно преступен.

Сейчас она быстро-быстро шла лесной тропой и думала, как подбежит к Михаилу, возьмет его за руку и уведет далеко-далеко в глушь, туда, где по ночам воет волчица да дурным голосом кычет филин. И там, в этой немой парной чашобе, весь-то божий день, до самой темной ноченьки, она будет ласкать своего милого, а потом пускай отдадут за того супостата, Андрея Савкина, – после венца в первую же брачную ночь она скажет ему, что уже не девушка, что не для него хранила она сладостный миг любви. Андрей, конечно, тотчас же выгонит ее, а ей, Ульке, только того и нужно будет: она станет женою Михаила Харламова.

Вот какой нелегкий путь избрала Улька к своему счастью. Но она избрала его твердо, и потому лицо ее, когда она увидела идущего навстречу Михаила, было исполнено неотвратимой решимости, татарские глаза сузились, брови – торчком, в широкий разлет.

– Пойдем, пойдем же скорее, Миш, – заговорила она первой, таща Харламова за руку. – Карпушка, родненький, дай нам побыть одним!

– Понимаю, понимаю. Ай я пенек какой, чтоб не понимать? – пробормотал Карпушка и, пригнувшись, черным зверьком нырнул в кусты, затрещал там, побрел в сторону сада.

Когда все стихло, Улька, запрокинув голову, долго глядела в глаза Михаила, и он испугался: что-то жалкое, просящее было в этом ее взгляде. Она потянула его за руку, почувствовала легкое сопротивление, вновь посмотрела ему в лицо, спрашивая недоумевающими, спокойными глазами: «Что же это значит? Отчего ты не хочешь идти за мною?»

Еще не поняв всего умом, но почуяв сердцем, Улька отпустила его руку, и ей стало до слез обидно. Но она не заплакала, побледнела только, прикусила нижнюю губу, постояла так немного, потом повернулась и не шибко пошла назад по той же тропинке, по которой бежала к нему.

– Уля, что с тобою?

Улька не оглянулась. Ей, конечно, очень хотелось, чтобы он догнал ее, поднял на руки, крепко-крепко поцеловал и понес в сторону от тропы. Ульке даже чудились его торопливые шаги, но, обернувшись, она увидела Михаила на прежнем месте, заплакала, облилась злыми слезами и побежала.

10

Дома Подифор Кондратьевич, сняв со стены заранее припасенный чересседельник, долго и обдуманно, сосредоточенно сек дочь, ожесточаясь от ее упрямого молчания. Определенная на Покров день свадьба по его настоянию была перенесена на более ранний срок.

Венчание шло точно в назначенный день. Церковь была полна, всяк спешил «хоть одним глазком глянуть» на богатых жениха и невесту. Отец Василий, предвкушая солидную поживу, старался вовсю, расцвечивая венчальный обряд в особенно пышные цвета. Вот он, величественный и торжественный, сияя золотом, уже спрашивает молодых, по любви ли соединяют они на веки вечные юные свои сердца, не было ли над ними совершено насилия. Андрей, смуглый, толстогубый, уже начавший обрастать бурой, отцовской масти, шерстью, огнеглазый, тая озорную, разбойную ухмылку, сверкнул белой костью зубов, сказал:

– По любви, батюшка.

– Ну а ты, дочь моя? – обратился отец Василий к Ульке.

– По любви, батюшка, – сказала она машинально и вдруг содрогнулась вся от чудовищной этой лжи. Лицо ее исказилось, темные глаза плеснули нехорошим огнем. Трясаясь, она закричала диким, отчаянным голосом:

Да пропадите вы все пропадом, душегубы! – и, подхватив белый хвост подвенечного наряда, бросилась вон из церкви.

Толпа расступилась в радостном изумлении и с ликующим ревом хлынула вслед за невестой. Улька бежала по улице, ведущей к Ужиному мосту, а через него – прямо в Салтыковский лес. На бегу сбрасывала с себя свадебное, в этом ей охотно помогали собаки, выскочившие из всех подворотен. Белые куски материи летели по ветру. Мальчишки, черной, улюлюкающей ордой мчавшиеся за беглянкой, подхватывали их, дрались между собой из-за посеребренных и позолоченных подвенечных украшений.

Ульку изловили в лесу, на Вонючей поляне, связали ей руки, и так, связанной, оба свата, Подифор и Гурьян, насмерть пристыженные, опозоренные, повели в село и всю дорогу усердно секли плетью. Толпа подогревала, подсказывала:

– Гурьян Дормидонтович, а ты по голым лягашкам-то ее, по лягашкам, суку!

– Путем ее, путем, мерзавку! – кричал злой мужичонка Митрий Полетаев, первый драчун на селе, зачинатель всех кулачных баталий, прозванный затовцами Реваком за то, что еще в детстве он всадил одному мальчишке меж лопаток самодельный нож.

Федор Гаврилович Орланин, бывший матрос Черноморского флота, шел ближе всех к истерзанной Ульке и твердил гневно и угрожающе:

– Что вы делаете с девчонкой, изверги?

– Заткни глотку! – И Гурьян Савкин ткнул в грудь Федора свинчаткой своего страшного кулака.

А потом случилось и совсем уж худое. Переодетая сызнова подругами в отцовском доме и доставленная в церковь довенчиваться, Улька внезапно расхохоталась на весь божий храм неестественным, русалочьим хохотом, вырвалась вперед, готовая вспрыгнуть на алтарь. Хохо-чущую, рыдающую, выкрикивающую дерзости, увез свою дочь Подифор Кондратьевич домой. На другой день послал в Баланду, в больницу, за доктором, и тот определил у девушки тяжелую форму умопомешательства.

Так в Савкином Затоне на утеху мальчишкам и пьяным озорникам появилась Улька-дурочка, которая теперь будет слоняться по селам и деревням в обществе другого затонского блаженного – Пани Кольшева.

Состарившийся за какую-нибудь неделю чуть ли не вдвое, белый как лунь Подифор Кондратьевич совсем было уже выбился из колеи, запил смертно, но однажды после мучительного похмелья, выпив полбочонка квасу, он повел вокруг себя просветленным взором и понял, что ему надобно жениться. Без особого труда переманил он соседку, Карпушкину супружницу Меланью, которой, видать, надоело жить в бедности за своим никудышным муженьком. В качестве приданого Меланья привела овцу, забрала из переднего угла единственную икону с изображением Георгия Победоносца, прокалывающего длинным копьём змия. Избенку же свою милостиво ссудила Карпушке, чтоб не очень огорчался-печалился.

Карпушка, однако, и не собирался огорчаться – чего еще не хватало! «Зад об зад – и врозь! Она, Меланья-то, ни мычит ни телится. Ни молока от нее, ни мяса. А сколь сраму из-за нее, проклятой, натерпелся! Чуть было в полегченного не зачислили. Слава богу, Сорочиха выручила, а то б навеки прилипла бы ко мне дурная слава!»

Прожив с Меланьей несколько лет, Карпушка однажды понял, что его упитанная супруга совершенно не способна рожать детей. Но затонцы в бесплодии поначалу обвиняли самого Карпушку. Многие уверяли, что он полегченный, в доказательство приводили то обстоятельство, что Карпушка не ходит вместе с другими мужиками в баню и что Меланья украдкой поглядывает на чужих мужей. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Карпушка вовремя не принял самых решительных мер, чтобы раз и навсегда покончить со вздорными и гнусными слухами.

Выследив однажды, как в Подифорову баню зашла Сорочиха, Карпушка с редкостным проворством юркнул в предбанник, сбросил с себя портки, перекрестился и вскочил в парную. С ходу выпалил остолбеневшей старухе:

– До каких пор, бабушка, буду я терпеть напраслину? Слухи разные? Вот они, глянь, все на месте...

В тот же день весь Савкин Затон потешался над новой проделкой Карпушки. Однако дело было сделано: длинный язык Сорочихи полностью восстановил Карпушку в глазах затонцев.

Вот об этой-то веселой истории он и вспомнил сейчас, расставаясь с Меланьей:

– Хрен с ней, пускай идет.

В тот же день как ни в чем не бывало Карпушка сидел у Подифора Кондратьевича и вовсю философствовал:

– Человека нельзя неволить, шабер! Грешно! Полюбила тебя, к примеру сказать, моя Меланья, зачем же я суперечь стану? Иди, родимая, наслаждайся жизнью... Вот и с Ульяной... Ежели бы ты... – Но, перехватив недобрый, ничего хорошего не сулящий взгляд Подифора Кондратьевича, Карпушка мигом и весьма ловко перевел разговор на другое: – Мы с тобой соседи, шабры по-нашему, по-затонски. Должны, стало быть, проживать в согласии и дружбе. Так что желаю вам счастья. Совет да любовь. За ваше здоровье!

Они выпили по одной, по другой и по третьей выпили. В заключение ударили почему-то ладонь об ладонь, точно барышники на баландинской ярмарке, и расстались, ужасно довольные друг другом.

11

А Михаил Харламов?

Теперь он и сам не смог бы в точности рассказать, почему остался живой, почему не наложил на себя руки. Не раз темной ночью стоял он на берегу Вишневого омута и смотрел в глаза своей смерти.

Не приняла его смерть, отошла, отодвинула, отступила, и надолго.

В соседней степной деревушке со странным именем Варварина Гайка сердобольная Сорочиха по слезной просьбе Настасьи Хохлушки подыскала для Михаила Харламова подружку – шестнадцатилетнюю сиротку Олимпиаду, или просто Пиаду, как ее звали все на деревне, как потом стали звать муж, золовка и свекровь. Беленькая, усыпанная золотистыми веснушками, будто сорочиное яичко. Пиада была неправдоподобно мала росточком и рядом с гигантской фигурой Михаила казалась сущим ребенком. Говорили, будто все пять верст от Варвариной Гайки до Панциревки он нес ее, доверчиво прильнувшему к широченной его груди, на руках. Свадьбы никакой не было. Только Карпушка выпил чарку за здоровье и счастье молодых, да тем все и кончилось.

Поздней осенью, когда ударили первые заморозки, Михаил привез из Саратова, от знакомых людей, саженцы яблонь разных сортов, груш, слив, вишен, смородины, крыжовника и посадил на расчищенной от леса площадке. Работа продолжалась две недели. А еще через неделю саженцы были выдернуты из земли и разбросаны, искалеченные, во все стороны. Впервые по щеке Михаила скатилась скупая мужская слеза. Досуха вытер глаза, сжал зубы и пошел к Савкиным. У ворот встретил Андрея, закапывавшего лопатой дубовую вереву, сказал негромко и внушительно:

– Коли еще раз сотворишь такое, убью.

Повернулся и молча пошел от дома, по привычке грузчика заложив руки за спину и малость сутулясь.

Как же захотелось Андрею запустить в эту широкую, гордую спину топором, который лежал у его ног, но сробел, не хватило духу. Потом долго не мог простить себе этой слабости. Страх перед Харламовым, однажды ворвавшийся в душу Андрея, не покидал затем его всю жизнь, как, впрочем, не покидал он и его отца. Случилось это с той минуты, когда Гурьян попытался было вовлечь Михаила в кулачные бои и когда тот, легко перебросив семипудовую тушу через свою голову, вытянул ее на пыльной, загаженной свежими коровьими лепешками дороге и спокойно посоветовал:

– Не балуй, Гурьян Дормидоныч. Ушибу.

– Ты. Ушибешь... – только это и пробасил Гурьян, в растерянности почесывая затылок и встряхивая длинным подолом испачканной рубахи. Потом покорно удалился.

Ранней весной маленькая Пиада родила сына. Родила в саду, во время снятия с молодых яблонь жгутов соломы и рогожин. Раздев одну яблоньку, она присела на корточки и залюбовалась хорошо прижившимся деревцом, его нежными, дымчато-зелеными ветвями.

– Принялся, принял, голубок! Принялся, миленький! – ворковала она и вдруг вскрикнула от невыразимо острой, неземной боли, полыхнувшей по животу и пояснице.

Михаил схватил ее в охапку и, воющую, отнес в шалаш. Туда же устремился и Карпушка, помогавший в работе, но тут же отпрянул, вытолкнутый отчаянным криком женщины:

– Уйди, бесстыдник! Ох, господи-и-и!

Через час в шалаше заплакал ребенок. И в тот же миг в Савкином Затоне ударили медью колокола.

– Никак, пожар? – встревожился Карпушка. – Побегу, не ровен час сгорит избенка – в чем жить буду?

Вскоре он вернулся успокоенный.

– Царя, вишь, в Петербурге убили, Александра Освободителя. – И неожиданно запел – нестройно, нарочито гнусаво:

Ой ты, воля, моя воля.
Воля вольная моя.
Знать, горячая молитва
Долетела до царя.

Замолчав, перекрестился:

– Царство ему теперя небесное.

А Михаил держал на ладони закутанного в старые мешки сына, хмурился, говорил мрачно:

– Не будет счастья. Не будет! В недобрый час родился сынку мой!

– Зря убиваешься, Михайла. До Бога высоко, до царя далеко. Один помрет – другой сядет на престол. Нам все едино. Твой Петруха – так, кажись, ты хотел назвать сына-то? – коли с умом-разумом – не пропадет. Чего там! Пойду-ка я на зубок припасу, да и сам выпью за здо-

ровые новорожденного, а заодно и за упокой души царя нашего батюшки, самодержца всероссийского... Крестить-то когда будете? Завтра, ай попозднее? Отцу Василию надо сказать.

12

На душе было одиноко, пустынно.

Часто и подолгу глядел Михаил на Игрицу, и ему все думалось, что вот сейчас появится там Улька и, как бывало, приветливо улыбнется ему.

Появлялась, однако, тихая беленькая Пиада, приносящая мужу еду. Она ходила вторым, была на сносях и сильно подурнела. Золотые веснушки, делавшие ее крохотное, птичье личико забавным и привлекательным, слились в большие, землистого цвета пятна; веки припухли, рот обмяк, губы потрескались и посинели.

Михаил подплывал на челноке, забирал еду, неумело ласкал ее, безразлично спрашивал о матери, о сестре, уже второй год работавших прачками у панциревского помещика Гардина и таким образом добывавших на хлеб для семьи, возвращался в сад. Михаил не обижал свою Пиаду, ни разу не выказал, что не ей, безответной, принадлежит он сердцем-то своим, не по ней долгими-предолгими ночами острой тоской исходит душа...

Неужто он так и не сможет жить без Ульки? Неужто не станет светить для него ясно солнышко, не станет теплой и ласковой Игрицы, в которой так хорошо удить рыбу и купаться, не станет леса с его птицами, зверями, цветами на зеленых просеках и полянах, не станет Вишневого омута, которого хоть и боялись все, но и не желали, чтобы омут исчез совсем? Неужто не для него будет цвести и шуметь листвою, буянить красой им же возвращенный сад? Неужто ничего не будет, кроме тупой и вечной боли в груди, тайного свинцово-угрюмого равнодушия ко всему на свете, – ничего не будет, кроме мокрой подушки под горячей головой, и так-то весь твой век, до самой могилы?..

– Уля... – остановившись вдруг посреди сада, беззвучно шептал Михаил. Большие руки его бессильно висели вдоль туловища, глаза подергивались сумеречной дымкой и невидяще глядели в какую-нибудь точку. Чувало ли сердце Михаила, что впереди, связанное с Улькой, ждет его еще одно тяжкое испытание?

Михаил слышал от людей, что Улька начала жестоко пить, появлялась оборванная и почерневшая всюду, где только затевалось гульбище, сивушный дух слышала на далеком расстоянии и бежала на него сломя голову, как бездомная собака на запах выброшенной в овраг падали. Ее нередко видели спящей в канаве среди разного мусора. Михаил верил и не верил этому, пока сам, своими глазами не увидел такое, что чуть было опять не свело его в могилу...

Андрей Савкин, затаив лютую злобу, давненько уж искал случая, чтобы поквитаться с ненавистной ему, ославившей его на все село девкой. Будь Улька в здравом уме, он без промедления осуществил бы свой страшный замысел. Связываться же с дурочкой вроде бы нехорошо, неприлично. Однако злоба его была столь велика и неутолима, что он плюнул на все побочные соображения и начал действовать. В качестве союзника привлек Афоню Олехина, своего работника, придурковатого парня, служившего Савкиным верой и правдой. Решено было увести Ульку подальше в Салтыковский лес, к Вонючей поляне, как раз к тому месту, где она пыталась укрыться в день скандального, памятного венчания, напоить ее там до бесчувствия, сделать что надо, а потом уже порешить, как поступить с нею дальше. Купили в лавке Федотова четверть водки, набрали огурцов, сала. Афоня отправился за Улькой, а Савкин Андрей – в лес, к условленному месту.

Ульку Афоня обнаружил под отцовской крышей: она спала на полу, чисто помытая мачехой и принаряженная, и во сне была красива, почти как прежде. Рот полуоткрыт, белый оскал ровных зубов тихо освещал обветренное, темное лицо. Ноги обнажены, бесстыдно разбросаны и были смуглы только до коленей, а выше – цвета парного молока, молодые, округлые. Афоня

вздрагнул, обожженный вспыхнувшим желанием, и, гася его, грубо пнул спящую. Та раскрыла полинявшие, недобро поблескивающие глаза, одернула юбку.

– Чево тебе?

– Опохмелиться хошь?

– Угу. А у тебя есть? – просительно заскользила глазами по Афониным карманам.

– Есть, есть. Пойдем со мной.

Улька бежала за ним трусцой, то и дело вырываясь вперед и заглядывая ему в лицо, – так бежит за хозяином только что оценившаяся сука, когда от нее уносят топить слепых кутят.

Узнала ли она Андрея? Может, узнала, а может, и нет, потому что лицо ее нисколько не изменилось, когда он появился на поляне и пошел им навстречу.

Они расположились под вязом, на краю поляны, примяв конский щавель и свирельник, давший острым, щекочуще пряным запахом своим название поляне – Вонючая.

– Улька, помнишь, как нас с тобой женили? – спросил Андрей, через силу стараясь придать своему голосу тон насмешливо-простодушный, но глаза не слушались, выдавали: в них под нависшей волосней побуревших от солнца бровей уже металась молния, в черни зрачков бушевали грозы.

Улька замотала головой и потянулась дрожащей рукой к кружке. Жадно выпила, остаток пролила на грудь. Выпили и Андрей с Афоней. Крепчайшая водка в союзничестве с полдненным зноем кинули их в жар, одурманили, поприбавили смелости. Ульке налили еще кружку. Сами закусывали огурцом, салом, ей закусывать не давали. Сначала она пела какие-то странные, непохожие на людские песни, потом расплакалась, потом расхохоталась, потом стала часто и громко икать, потом присмирела, задумалась вроде, прикрыла глаза, упала спиной на траву и мгновенно заснула.

Вокруг с минуту стыла сторожкая, непрочная тишина. Над поляной, косо избочив крылья, низко кружил коршун. Птицы, до этого звеневшие в кустах и траве, тоже примолкли, затаились.

– Ну? – Андрей вопросительно посмотрел в глаза Афони.

– Не, – затряс большой круглой и черной, как чугун, головой Афоня. – Сперез ты. Можя, она того... не трогана. Вон титьки-то торчат как! Тебе, чай, по закону... первому...

– Ну, и... с тобой, дурак! Прочь отсюда! – рыкнул Андрей.

– Ай застеснялся? Какой стыдливый! Ладно, валяй... Я на дороге посторожу...

Вскоре Савкин покликнул его.

– Давай, Афоня, теперь ты... Спит как убитая, ни разу не очухалась... А ведь ты правду сказал – нетроганая...

За этим-то занятием и увидал их Михаил Харламов, загнанный на Вонючую поляну охватившей его в тот день непобедимой тоской.

– Что вы делаете, зверье! – закричал он, еще не совсем веря своим глазам.

Афоня первым заметил опасность и бросился в кусты. Побежал потом и Андрей, но было уже поздно: жесточайшим ударом кулака Михаил опрокинул его на землю. Пришлось принять бой. Через минуту они уже темным рычащим клубком катались по поляне, зеленые от примятой травы. Не заметили, как проснулась Улька, как она с криком побежала из лесу в Савкин Затон. Приведенные ею Подифор Кондратьевич, Карпушка, Федор Орланин и Митрий Резак розняли дерущихся.

Андрея в тот же день отец увез в Баланду, в больницу, а Михаил с помощью Карпушки добрался до своего сада и три дня не мог унять выворачивающей его наизнанку рвоты.

Вся семья была рядом, никто не ложился спать.

На четвертый день он очнулся от оглушительного, нездешнего, нечеловеческого крика.

У Пиады начались преждевременные роды.

Это чуть было не погубило молодую мать и ее дитя. Но это же самое спасло жизнь Михаила, уже твердо решившего было покончить с собой. В ту минуту Михаил Харламов, может быть, впервые с какой-то особой ясностью понял, как несправедливо жестоко устроена жизнь, и, поняв это, внутренне насторожился, как бы прислушиваясь к тайной работе своих же, но непривычных, новых для него беспокойных мыслей. Странно просветленный, худой, как бы вдруг понявший что-то чрезвычайно важное для себя, он слабыми, как после перенесенного тифа, неровными шагами подошел, поднял на руки маленькую Пиладу и, как тогда, в первые ее роды, понес в шалаш.

13

Сад между тем подрастал. В нем уже поселились птицы. Первыми пернатыми новоселами оказались соловьи. Одна пара жила совсем близко от шалаша. Она выбрала для себя большой, загустевший, ошетилившийся во все стороны злыми колючками куст крыжовника. Это случилось в ту весну, когда первым цветом занялись яблони, когда всюду цвели вишни, сливы, терн. Соловей запел на заре, засвистал, защелкал сочно и звонко. Михаил проснулся с ощущением праздника на душе: никогда еще не было ему так хорошо, ясно и спокойно.

Было воскресенье. Над Игрицей тек медногосый благовест. Это молодой церковный сторож Иван Мороз скликал верующих к обедне. Михаил вытянул губы и попробовал подражать соловью. Вышло нелепо, смешно. Соловей перемолчал, обождал малость, а потом, как бы глумясь над беспомощностью человека, залился звончайшей трелью и, все нагнетая и нагнетая, без передыха брал одну невозможную ноту за другой, а под конец, замерев на миг, всхлипнув как-то, рассыпался крупным градом, да так, что у Михаила захолонуло под сердцем, словно бы его неожиданно толкнули с огромной высоты.

– Молодец! – шептал он.

Скворец, высунувшись из своего домика, прикрепленного к вершине сохраненного для такой цели молодого дубка, послушал, послушал, выскочил на ветку, взмахнул крыльями и начал дерзко и очень похоже передразнивать соловья. Однако голос лихого пересмешника был слаб, сух – ему не хватало сочности и всех тех неуловимых оттенков, которыми природа одаряет лишь своих избранных – гениальных певцов. Должно быть, скворец и сам скоро сообразил, что состязаться с соловьем, по крайней мере, неразумно, и сразу же переключался на иные лады: очень искусно проквакал лягушкой, ловко воспроизвел голубиную воркотню, протараторил по-сорочьи, а в заключение концерта уронил тихую, сиротскую, непреходящую скорбь горлинки. И те, кому он столь успешно подражал, вдруг пробудились и один за другим подали свои голоса.

Сначала отозвалась лягушка. Большая, полосатая, словно бы приодетая в восточный халат, она взгромоздилась на озаренный первым солнечным лучом листок кувшинки, устроилась на нем, как на подносе, поудобнее, проморгалась со сна, надула за щеками большие пузыри и заголосила: «Кы-уу-рыва, кыу-рыва». Ей тотчас же сердито ответили в Вишневом омуте: «А ты как-ка, а ты ка-ка?»

Сорока, мелькая меж стволов яблонь, прокричала русалкой и скрылась в частом терновнике, где уж второй год она выводила озорных и горластых сорочат. Горлинка откликнулась в калине, окружавшей сад со всех сторон и наряжавшей его то в белоснежные, то янтарные, то светло-зеленые, то розовые, то пунцово-красные, пурпурные ожерелья. На яблоне, прозванной за своеобразную форму плодов кубышкой, появился пестрый удод, или дикий петушок, как его именуют затонцы. Раздвоил тонкий, радужный, как китайский веер, хохолок, потом сложил, потом снова раздвоил, опустился на землю, бесстрашно подскакал к шалашу и философски заключил: «Добро тут, добро тут».

– Ишь ты! Теперь добро, а прежде-то: худо тут да худо тут. Верно, шельмец полосатый, добро! А будет еще краше. Вот погоди трошки.

Яблони и груши второй уже год начали зацветать, но Михаил не допускал до завязи плодов, обрывал цвет, оставляя на дереве по два-три цветка, чтобы лишь проверить сорта яблок и груш. Раннее плодоношение пагубно для молодого сада: у дерева очень скоро прекращается рост, наступает преждевременная старость, и оно не даст и половины того, что может дать, войдя в зрелый возраст. Пока же в полную силу цвели лишь скоро созревающие и непривередливые испанские вишни, смородина – красная и черная, терн, малина, крыжовник. Яблоням оставалось ждать еще года два-три. Но уже и теперь каждая из них успела показать хозяйину свой характер, свой нрав. Буйно рвущаяся вверх, краснолистая и красностволая кубышка была нежна, капризна и любила полив; яблоко у кубышки ярко-красное, румяное, сочное; едва почуяв обильную влагу, кубышка весело встряхивала густыми ветвями и вся как бы улыбалась свету вольному, она была настоящей баловницей у садовника; Михаил холил ее, пожалуй, больше всех. Рядом с кубышкой, отделенная от нее только узкой тропой, росла тихая и грустная медовка – яблонька со сладкими и упоительно душистыми, неожиданно крупными для нежной их и слабой матери плодами. Медовка часто хворала и, как всякое больное дитя, была окружена особой заботой и любовью. Очень много зла приносили ей зайцы – для Михаила этот трусливый зверек был страшнее волка. Из всех деревьев зайцы почему-то избрали медовку и тяжело раиили ее кожицу. Михаил закутывал медовку на зиму мешковиной, обматывал соломой, и все-таки заяц умудрялся, точно бритвой, то отсечь наискосок ветку, то поскоблить кожу. Однако выжила и медовка и теперь, немного, правда, отстав от своих подруг-ровесниц, тянулась вверх, к солнцу. В два ряда по обе стороны выстроились анисовки – шесть удивительно похожих одна на другую сестер со светло-зелеными, почти дымчатыми листочками. С каждой из них Михаил в прошлом году снял по несколько кисло-сладких небольших, приплюснутых сверху и снизу ароматных яблок – лучших для мочения на свете не существует! Анисовки в противоположность кубышке были беззаботны, воды почти не просили и боялись только червей, охотнее всего почему-то селившихся в листьях анисовых деревьев. Анисовки росли дружно, вперегонки, широко и привольно разбрасывая вокруг кривые ветви. Каждое утро они встречали Михаила по-ребячьи забавным, милым лепетом. А за ними, поближе к Игрице, напоминающие пирамидальные тополя, целились в синее небо острыми макушками две груши бергамотки. Их мелкие и жесткие, как у лавра, листочки и при полном безветрии испуганно трепетали, роща на что-то. Ветви, длинные и шипастые, плотно жались к материнскому стволу. Днем бергамотки отбрасывали длинные тени, а ночью стояли темные, строгие, молчаливо-настороженные, как часовые на посту. Немного поодаль по правую и левую стороны сада, на его флангах, на солнцепеке росли желтокожие китайские яблоньки. Они второй раз пытались буйно зацвести, но Михаил безжалостно укрощал их жадную тягу к материнству. В глубине сада, в тылу, в арьергарде, трудно, но основательно подымались над землей антоновка и белый налив. Они были неприхотливы, спокойны и царственно важны. По всему было видно, что собирались долго прожить на белом свете. У самого шалаша, в добром соседстве с молодым и крепким, как деревенский парубок, дубком, самозабвенно рвалась вверх раскудрявая зерновка – яблоня-дичок, неведомо как затесавшаяся в культурное семейство. Ее никто не поливал, не обрезал на ней лишних веток, не делал ей прививок, а она и не нуждалась в этом: росла себе да росла, успев дважды устлать землю под собой великим множеством мелких, желтых, в зеленую крапинку, на редкость кислющих плодов, даже мальчишки не отваживались вкусить от них. Михаил однажды решил было устранить зерновку, да пожалел: больно уж хороша она собой, пышна и озорна, как девка на выданье, к тому ж вместе с дубом она создавала вокруг шалаша великолепную прохладу, где приятно попивать чаек с малиной да плести из липового лыка лапти – к этому ремеслу Михаил пристрастился сразу же, как только перекочевал на постоянное жительство в сад. От леса сад был отгорожен калиной и терновником, служившим одно-

временно и естественной изгородью; от реки напротив Вишневого омута – калиной и высокой вишней владимиркой. По бокам – сливы, а за яблонями, на прогалинах, ровными рядами кустились смородина, крыжовник. Позади шалаша, на взгорке, табуном высыпала малина.

Вот мир, который будет окружать многие поколения Харламовых на протяжении долгих-долгих лет.

14

Шли годы. Сад разрастался, густел. Подрастали дети – их было уже трое: Петр, Николай и Павел. Маленькая Пиада, все еще похожая на девочку-подростка, рожала только сыновей – на зависть многим панциревчанам и затонцам: по тогдашним законам земельные наделы давались лишь на человеческие существа мужского пола, на женщин не отпускалось и вершка.

– Ты у меня умница, – говаривал ночами Михаил Аверьянович (теперь его все уже называли по имени-отчеству). – Вон сколько богатырей народила! Добре, жинка!

А на сердце – камень: наделы не полагались не только женщинам, но и всем приезжим, инородным, «странним». Они могли получить землю лишь с разрешения «обчества», старейшин села. Для Михаила Аверьяновича это означало, что он должен был обратиться прежде всего к могущественному повелителю затонцев – к Гурьяну Дормидонтовичу Савкину. Михаил Аверьянович уже снял со своего сада несколько урожаев и выручил немного денег. Теперь он решил осуществить давнюю свою мечту – перебраться на постоянное жительство в Савкин Затон, богатый и землей, и лугами, и лесом, и огородными угодьями. Долго терзался сомнением: пойти или не пойти на поклон к Гурьяну? Скрепя сердце пошел: большой семье надобна земля, одним садом ее не прокормишь.

Гурьян – Андрея дома не было, выехал в ночное – встретил Михаила Аверьяновича с удивлением.

– Зачем пожаловал, Аника-воин?

Михаил Аверьянович вышел на середину избы, встал перед образами. На него глядели из темного, прокопченного лампадой угла свирепые лица – видать, и богов Гурьян подобрал по своему же подобию.

– Хочу в Савкин Затон переехать. Бью тебе челом, Гурьян Дормидонтович. Не откажи. Вовек не забуду.

Гурьян зло просиял:

– Так-то? Я знал, что придешь – не минуешь. Только разве так челом-то бьют! Об пол харей, харей надоть! Да в ноги, в ноги. А гордыню-то спрячь! Ну?!

– В ноги падать не буду, Гурьян Дормидонтович. Помру, а не буду.

Михаил Аверьянович повернулся и тихо пошел к двери.

– Ну и подыхай со своими хохлятами! – крикнул ему вслед Гурьян.

Михаил Аверьянович задержался, поглядел на хозяина, но ничего не сказал.

Гурьян беспокойно заерзал под этим тяжким взглядом. На том, вероятно, все бы и кончилось, если б не Настасья Хохлушка. То, чего не мог сделать сын, сделала за него мать. Отправляясь к Савкину, она прихватила на всякий случай красненькую. Позже, страшно довольная собой, повествовала своей приятельнице Сорочихе:

– На брюхе перед ним ползала. «Не бывать тому!» – каже, и усе. Я в слезы. «Родненький, – кажу, – батько ты наш, смилуйся, не губи. Дети у него, у Мишки-то моего, мал мала меньше. Михаил-то, мол, глуп, гордый – простил бы уж ты его». Нет и нет! Тоди я ему десять карбованцев... Подобрел, пообмяк трохи. «Ладно уж, – каже, – вас, Настасья Остаповна, с дочерью да внуками жалко, а то бы ни в жисть».

– А красненькую-то взял?

– А як же? Узял, узял, риднесенький!

– Ну и господь с ним. Ну и слава богу!

Гурьян Дормидонтович, оставшись наедине с десяткой, не сразу, не вдруг упрятал ее в свой кованный сундучок. Сначала повертел так и сяк перед глазами, понюхал, пощекотал ею кончик носа, чихнул от избытка чувств, потом принялся читать по слогам написанное на десятирублевке:

– «Государственный кре-дит-ный би-лет. Де-сять руб-лей». Десять рублей? Шутка ли! Телку за такие-то деньги можно купить! – проговорил вслух и продолжал читать: – «Го-су-дар-ствен-ный банк раз-ме-ни-ва-ет кре-дит-ные би-ле-ты на зо-ло-тую мо-не-ту без ог-ра-ни-че-ни-я сум-мы». Без ограничения... Ишь ты! – снова проговорил вслух и стал открывать кованный сундучок.

Спрятав десятку, задумался.

«Бумажка, а какая в ней силища-то! Скажи на милость! Есть она у тебя – ты человек. Нет – дерьмо собачье, тля, вошь, любой может к ногтю...»

Радужное оперение двуглавого орла на красненькой долго еще стояло перед его очами. Глянет на стену – там вырисовывается десятирублевка. На шкаф поглядит – и там она, милушка. Обратит взор свой к иконам – и там вместо строгих лиц Иисуса Христа и Николая Угодника – бестелесный образ кредитки. На собственный портрет, грубо состряпанный каким-то заезжим пачкуном-художником, посмотрит – и там то же самое. Гурьян знал, что этот странный мираж возникает перед его глазами всякий раз, как только в его руки попадает новенький банковский билет, и что он будет преследовать его до тех пор, пока не погасишь каким-нибудь другим, еще более сильным ощущением. Чаще всего выручала водка: хватит натошак кружку-другую, и в глазах тотчас же замельтешат, запляшут бесенята, а кредитка исчезнет.

– Черт с ним, пущай поселяется! – сказал Гурьян, обратившись к самому себе, что, впрочем, делал почти всегда, когда нужно было решить важное дело: из всех собеседников он уважал прежде всего самого себя – сам себе задавал вопросы, сам отвечал на них, иногда рассказывал сам себе длиннейшие истории и благоговейно, умиленно их выслушивал. – Пускай обратится в Савкину веру. Так-то будет лучше! – бормотал он, еще не сознавая умом своим того, что в его темную и грозную душу, не спросясь, совсем незаметно вторглось и утвердилось невольное уважение к «хохлу». – Крепкий мужик, двужильный и с умом. Не перешибешь скоро-то. Его бы в работники – гору своротит! – Причмокнул, щелкнул языком, но сразу же увял, заключив с великим сожалением: – Не пойдет, подлец. Гордый сильно, да уж и свои корни глубоко запустил. Вон сад-то какой, небось деньжищ награбастал – страсть одна! Не пощупать ли его, а?.. Нет, убьет, собака. Схватит за глотку, и не пикнешь. Не то в омут спихнет... А можа, помирить их с Андрюхой, а? Как ты, Дормидоныч, кумекаешь, а? Пригодится, ей-богу, пригодится!

Последняя мысль понравилась.

– Переломает хребтину любому цареву отступнику, – шептал Гурьян, погружаясь в состояние знакомого ему мрачного духа. – В Петербурге и в Москве опять, вишь, беспокойно. Подняли головы эти самые... как их там... Ух, мерзавцы, всех бы я их... до единого! – Темные, землистого цвета пальцы хрястнули и сами собой сплелись в тугой, как гиря, кулак. – За Федькой Орланиным надо поглядывать. Негоже он говорит про государя императора. Правда, может, спьяна. Но ить што у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Да и за этим пустобрехом Карпушкой следоват присматривать. Ране в церковь не ходил, теперь только пошел, поет в хоре. А што он поет, когда они, голоштаные, на Смородинной поляне по воскресным дням собираются? Можа, у них там сходка?

Радужный мираж красненькой улетучился без помощи водки.

15

Место для избы Харламовых уступил рядом с собой Митрий Резак. Он же возил Михайла Аверьяновича в поле показывать землю. Злой Митрий неожиданно подобрел к «странному».

– Теперича и ребятишки не боятся Вишневого омота. Целыми днями торчат там с удочками, – говорил он затонцам. – А все отчего? Оттого, что этот хитрый хохол сад там взрастил. Девчата песни играют, хороводятся – и вокруг повеселей маленько стало. Илья Рыжов рядом с хохлом тоже сад затеял. Да и у меня такая мысль в голове завелась. Скребется, как мышь, не дает покою! Намедни говорил с Гардиным – обещал продать полдесятины...

Осенью Харламовы перебрались в Савкин Затон. Пятистенный дом их стоял на возвышении, на юго-западной окраине села. Перед окнами сразу же начинались Малые луга, простирившиеся до синеющей вдали Салтыковской горы. Влево от лугов, если глядеть со стороны селения, молчаливой стеной стоял лес. Его разрезали на три равные части переезды. Ближний, Средний и Дальний. Вправо бугрились соломенными крышами риг Малые гумны – все лето до самой зимы над ними стоит густое рыжее облако мякинной пыли, гулко и складно ухают цепи, высоко в раскаленном воздухе августовскою порой выются клочья соломы, осотный пух; северо-восточный ветерок несет оттуда тонкую пряжу горьковато-нежных запахов сухой березки, полыни, васильков, сурепки, куколя. Временами гул стихает, пыль медленно оседает на тока, на обмолоченные и необмолоченные копны, на риги, на крапиву, на людей, на кур. Цепи, остывая, лежат вразброс на рядках растерзанных снопов. Это значит, что по дороге, проходящей через гумна, движется похоронная процессия. Гумна дальним своим концом вплотную подступают к кладбищу, окруженному глубокой канавой. Канавы эта заросла горьким лопухом. Лопухи неподвижны от толстого слоя гуменной пыли и непроницаемы для солнечных лучей, под ними всегда сыро, сумеречно. В знойный полдень в канаву забредают телята и, лениво обмахиваясь хвостами, блаженствуют, покуда не спадет жара. Кладбище без единого кустика. Старые могилки заросли белым низкорослым полыньком. Над свежими непостижимо скоро вымахивал татарник и кланялся во все стороны множеством своих малиновых обманчиво-привлекательных голов. Кресты стояли так и сяк. Под тощими и кривыми – тела затонцев с Непочетовки, Захудаловки, Оплеуховки. Под приземистыми и непременно окрашенными в черный цвет – представители династии Савкиных и многочисленные их «сродники». На каждом таком кресте можно прочесть имя раба божьего, коий «покоица под сим крестом». Прочий люд спал вечным сном под разнокалиберными крестами – крашеными и некрашеными, тучными, вроде Савкиных, средней толщины и вовсе тоненькими, как былинка. Состоятельные – под дубовыми, бедные – под ветляными либо осиновыми. Всему своя вера, своя цена, и ежели полюбопытствовать, кто когда помирает, то и свой срок. Но кому ж любопытствовать? «Бог дал – бог взял». Вот и все.

Есть в Савкином Затоне и Большие луга, и Большие гумны – они в противоположной стороне села. И там – справа лес, надвинувшийся на Игрицу, а слева, за Большими гумнами, – поле. Оно круто берет разбег, устремляясь на север, северо-восток и восток – сперва бесплодным полынным выгоном, а потом ровными просторными пажитями. Скаты полей порезаны оврагами на огромные, седые от бархатно-сивого полынька ломти; вечно разверстыми, алчуще красными ртами грозятся овраги, будто хотят проглотить и гумны, и кладбище, и село, и лес. По весне по ним с грозным львиным рыком рушатся желтые потоки воды. Они заливают Конопляник, что по правую сторону от Малых гумен и кладбища, значительную часть села, полностью Большие и Малые луга и, достигнув Игрицы, в ее сообществе потопляют лес, и тогда Савкин Затон оказывается на маленьких островах. В течение двух недель над селом не утихает переполошный крик петухов, поселившихся со своими гаремами на крышах изб и

сараев, мычание коров, лай собак, перебиваемый изредка истошным воплем тонущего человека. В такую пору луга напоминают море – воды спокойны, вечерами в них плавают звезды, осколок луны, утки, гуси, подальше от берегов – лебеди; подоженные снизу погружающимся за горизонт солнцем, огненно-красные, тихо скользят они по водной глади, рождая в притихших благоговейно людях неясные желания: вот бы подняться, как эти гордые птицы, и полететь, полететь... куда глазоньки глядят, куда сердечушко кличет, за море синее, за горы высокие. Уйдя, вода оставляет после себя аршинный, парной и ноздрястый, как творог, наносный ил: брось в него семя – в три дня проклюнется могучее жизнежаждущее шильце всхода. Нет, он был совсем неглупый малый, тот безвестный божий угодник из монастырской обители, что облюбовал эти земли!

Когда-то в Савкином Затоне насчитывалось всего двадцать дворов, а ныне их уже пятьсот. В селе – невиданное дело! – три церкви, три веры: старообрядческая, православная и третья, уж не знай какая, вера Савкиных. За сотни лет Савкины так расплодились, что составляли теперь едва ли не треть села. После неудачного венчания Андрея в православной церкви они порешили соорудить собственную церковь и замаливать в ней свои великие грехи тайно от селян. Даже священник был их же, Савкиных, кровей. Затонцы победнее держались почему-то православной веры. Они, не стесняясь, горланили, завидя старовера:

Кулугуры не крещены,
Из дерьма багром ташены.

Старовер в растерянности моргал глазами, не зная, чем бы ответить, и, не найдя достойного, кричал первое, что на ум пришло:

– А ваш поп Василий на крест наблевал! Нализался церковного вина и наблевал!

– А на ваш крест Паня Страмник нас...л! – не сдавался православный.

На это кулугуру ответить уж было нечем, потому как в словах православного содержалась хоть и не совсем святая, однако же сущая правда.

Годов пять тому назад Савкин Затон потрясло одно прелюбопытное событие, напрочно вошедшее в неписаную историю селения. Тогда старообрядцы достраивали для себя новую церковь с явным намерением перещегоолять противную им веру. Кирпичная, многоглавая, она вознеслась над Савкиным Затоном к самым небесам и была готова вот-вот рявкнуть октавищей стопудового колокола. Православным это определенно не нравилось. Долго думали, чем бы подпортить торжество староверов, и наконец придумали. Совершенно блестящую идею подал Карпушка, почему-то больше всех ненавидевший кулугуров. Он посоветовал подговорить Паню Колышева, чтобы тот ночью пробрался за церковную ограду, где лежал привезенный из Саратова золоченый крест для самой большой главы, и оправился на этом кресте. Паня исполнил поручение как нельзя лучше. Его, конечно, жестоко высекли, в придачу окрестили Страмником, но цель была достигнута: немалое число старообрядческих прихожан, в числе которых оказался и Подифор Кондратьевич Коротков, не вынеся позора, переметнулись под эгиду православного попа, к вящей радости последнего. Вражда между этими верами с той поры еще более обострилась, нередко приобретая форму кровавых столкновений, так что уряднику Пивкину не раз приходилось вызывать из Баланды конный наряд жандармерии.

– Безумное, безголовое племя, – говорил обычно Михаил Аверьянович, обмывая в Игрице окровавленную физиономию Карпушки, который, заделавшись певчим в церковном хоре, стал ревностным защитником чести православной церкви, участвовал чуть ли не во всех баталиях, вспыхивающих между кулугурами и православными. – Какого дьявола ты-то суешься? – увещевал его Михаил Аверьянович. – Дадут тебе щелчок – и готов. Силач какой отыскался! И Петра моего втравил. Ох, доберусь же я до вас, доведете вы меня!

Драки, поножовщина, возникавшие то в одном конце села, то в другом, обходили Михаила Аверьяновича стороной. Сад зеленой тихой стеной как бы ограждал его от всех мирских зол. Недавно он женил старшего сына – Петра. Теперь у них была сноха – Дарьюшка, полнолицая, полногрудая, с добрыми карими глазами, удивительно покладистая и работающая. Проснувшись еще до кочетиной побудки после первой же брачной ночи, она спокойно и деловито подошла к печке и загремела ухватами, будто никогда и не отходила от нее. Затопила печь, поставила чугуны, отправилась во двор доить корову. Вернулась с полным ведром, процедила сквозь цедилку молоко в горшки, расставила их по окнам, прикрыв деревянными кружочками. А когда проснулись остальные, все уже было прибрано, припасено. Настасья Хохлушка всплакнула на радостях: какую сношеньку Господь Бог послал им! Поцеловала Дарьюшку, обмочила ее щеку мокрым носом.

– Шо ты, милая? Поди, поди усни, голубонька. Я сама...

Сестра Михаила Аверьяновича, Полюшка, давно уже была замужем, отдана за «странного», в село Симоновку, что в восьми верстах от Савкина Затона. Отчий дом она редко навещала – мешали заботы о собственном гнезде. Да и где он, отчий тот дом? Одни гнилушки остались от него в Панциревке, в темную ночь жутко светят неживым фосфорическим светом...

Подрастали и младшие сыновья. Пора бы женить и Николая, Миколу, как звал его отец, но ростом мал: от горшка два вершка, в мать пошел, в Пиаду, но резв необыкновенно, не знай уж в кого! Да и Петр невелик в длину-то. И в нем Пиадина кровинка возобладала. Только Павел, кажется, попер в батьку: двенадцатилетний, а выше братьев на целую голову. Однако с ленцой. Этому лишь бы по чужим бахчам промышлять, подлецу. С утра до вечера пропадает где-то, только бы не поливать сад. Микола – тот молодец. Боек в работе. Поутру, чуть покличешь, вскакивает и бежит сломя голову запрягать Буланку. Один едет в поле, на луга, на гумно, в лес. Вот только не жалеет животину, негодный парубок! Как-то вез на Буланке сено. У ворот, на изволоке, лошадь заартачилась, бьется в оглоблях, а воз ни с места. Горячий Микола выдернул длинные вилы и начал черенком бить лошадь. Буланка рванулась, упала на колени, вскочила – воз не пошевелился. Михаил Аверьянович случайно оказался дома и видел все из окна. Не выдержал, выбежал на улицу, оттолкнул сына. Распряг Буланку и взялся за оглобли. Тронул воз один раз, другой и вдруг, налившись кровью, побагровев, вдохнув с шумом в себя воздух, повез, повез... Во дворе долго стоял молча, грудь его вздымалась и опускалась, со лба капал пот. Микола робко пробирался вдоль стены к сеням, чтобы поскорее оказаться под защитой бабушки.

– С-сукин ты сын! Сам я насилу ввез, а ты лошаденку мучил!

И пошел вслед за Николаем в избу. Потом долго и сосредоточенно пил чай из ведерного самовара. Не заметил, как выпил весь. В сердитом недоумении покрутил туда-сюда кран, поднял крышку, заглянул: пусто. Крякнул и вышел в сени. В ворохе яблок, насыпанных в углу, отыскал зерновку и долго, надкусив, высасывал из нее кислющий сок – это почему-то всегда успокаивало его.

«Женить, женить нужно! – еще раз подумал он, отправляясь в сад. – Собьется с пути. И за Петра надо взяться. К вину пристрастился, чертов сын. Выколочу я из него эту дурь! Вот погоди!»

К водке, так же как и к участию в драках, Петра приобщил Карпушка, которому очень пришелся «по ндраву» этот прямодушный и словоохотливый «хохленок». Петр с удовольствием выслушивал диковинные Карпушкины истории, безраздельно верил им, удивлялся и хохотал от души, что, понятно, не могло не нравиться Карпушке. В компании же Петр был просто незаменим: из-под земли добудет водку. О том, как он ее добывает, любят рассказывать в Савкином Затоне.

Зима. Ночь. За окном стужа, воеет ветер и метет – света вольного не видать. Водка выпита, но никто не собирается уходить. Под столом перекатываются пустые бутылки. Мужички перемаргиваются. На стол падает серебро, медь. Карпушка наклоняется к уху Петра:

– А ну, хохленок, валяй!

Петр нахлобучивает шапку и, нырнув, как в омут, в ворвавшийся со двора в открытую дверь пар, исчезает. Компания запасается терпением. Ей известен маршрут, по которому движется посланец. Сначала он обойдет Савкин Затон – водки может не оказаться. Тогда побегит в Панциревку – одна верста не расстояние. Водки там, конечно, не будет. От Панциревки до Салтыкова две версты – для молодых и резвых ног Петра они ничего, разумеется, не значат, – пробежит сквозь пургу в Салтыкове. Но и там его часто постигает неудача. Что же делать? Вернуться? Чего не хватало! От Салтыкова до Варвариной Гайки три версты; ежели идти напрямиком, через Салтыковскую гору, это ровно столько же, сколько и до Савкина Затона, с той лишь существенной разницей, что в Варвариной Гайке может быть водка, а в Савкином Затоне ее определено нет. Так куда же он должен, по логике вещей, пойти? Конечно же в Варварину Гайку. Что же касается компании, так она обождет, не впервой. Лучше он маленько задержится, чем придет с пустыми руками. Борясь с пургой и трудно дыша, Петр уже видит мрачные рожи Карпушкиных гостей – в том случае, если б он вернулся ни с чем. Итак, в Варварину Гайку! Но нередко и эта деревушка подводит. Петр в тягостном раздумье чешет затылок, стирает шапкой с лица пот. Так-так, гм... От Варвариной Гайки до Безобразовки сколько будет? Кажись, пять верст? Была не была! Айда в Безобразовку! Но коль не повезет, так уж не повезет: водки не окажется иной раз даже в Безобразовке. А позади одиннадцать верст. А впереди? Впереди Баланда, волостной центр, и до центра этого всего-навсего четыре версты. Только безумец мог теперь вернуться назад, когда до желанной цели рукой подать...

Усталого, белого от инея, курящегося паром и безмерно счастливого, от порога до стола Петра торжественно несут на руках и усиленно расхваливают его воистину феноменальные способности. Он появляется на пороге всегда в ту критическую минуту, когда компания находится на грани злобного разочарования. Но вот он тут как тут, маг и волшебник, вытаскивающий из всех карманов, из рукавов, из-за пазухи и даже из-за голенищ валяных сапог одну бутылку за другой. Доставал, однако, не вдруг. Наслаждаясь всевозрастающим ликованием товарищей, Петр извлекал бутылки медленно, по одной, при значительных паузах. Появление на столе нового грешного сосуда сопровождалось новым приливом радости у всех присутствовавших – за одно это можно сбегать не только в Баланду, но хоть на край света...

Не довелось Михаилу Аверьяновичу выколотить из старшего сына эту дурь. Где-то далеко-далеко, именно на самом краю света, началась война, и о Петре вспомнили. Вернулся он из-под «самого аж Порт-Артура» через полгода с одной правой рукой, да и на ней осталось только два пальца, большой и указательный, словно бы специально для того, чтобы мог держать детинушка милую его сердцу стопку. За неделю до его возвращения с войны Дарьюшка родила сына. Как ни ждал Михаил Аверьянович внука, но не обрадовался: не в добрый час появился и он на свет – отец пришел калекой, а где-то в Москве опять беспокойно, до села глухой волной докатывались слухи о революции. Гурьян Савкин рыскает по округе, кого-то все выискивает вместе с сыном Андреем, вынюхивает. Страшен – зверь зверем!

16

Ранним ноябрьским утром все мужское население Харламовых вышло на Игрицу – нужно было подготовить сад к зиме: обрезать сучья, покрасить в белое стволы яблонь, прорубить, прочистить терновник и малинник, закутать молодые деревца, поправить плетни, закрепить верями шалаш, чтоб его не унесло половодьем во время весеннего разлива Игрицы.

Петр Михайлович волновался. Далеким, грустно-необратимым повеяло на него от знакомого до последнего кустика, такого милого и родного сада. Со странно изменившимся лицом и светившимися глазами он подходил то к медовке, то к кубышке, то к анисовке, то к антоновке, то к зерновке и единственной рукой обнимал каждую яблоньку.

– А ты, медовка, постарела. Согнулась. Прошлые летом я и не примечал этого. Эх-х-хе-хе-хе! – шептал он тихо и печально. – И тебя не пощадил, окорнали, вон сколько ветвей-то поломано. Ребятишки небось. Пашкины дружки, порази их громом! Как же это не углядел отец? А? Да и сама ты виновата – зачем поддалась подлецам, по щекам бы их, по щекам! Ну, не тужи, не кручинься. Заживем. У тебя заживет... Зараз дедушка Михаил полечит... – И подходил к кубышке: – А ты, брат, молодец! Ни единой царпинки, румяная, как Фрося Вишенка! – Подходил так и говорил всякой свое, показывал обрубки рук и то жаловался на свою судьбу, то насмешливо-иронически прибавлял: – Зато «Георгия» на грудь повесили, кавалером сделался, от девок отбоя нету – жалко, что женатый, а то б... А руки – зачем они?

С ними одни хлопоты: то за куском, то в драку тянутся. И опять же по рукам могут больно стукнуть. А без них живи в свое полное удовольствие, без лишних забот и соблазнов...

Яблони будто слушали, стыдливо перешептываясь нагими ветвями. Сейчас они были некрасивы и, видать, сами понимали это, потому что не болтали беззаботно, не заигрывали, как прежде, летнею порой, с буйным и нахальным гулякой-ветром, только тихо роптали, когда он лихим кавалерийским наскоком врвался в сад и разбойничал минуту-другую.

– А вы не горюйте, ваши листья весной опять распустанятся, зазеленеют, – сказал Петр и задумался о чем-то, прижав пальцами заматеревшие, опаленные горячими и неласковыми ляодунскими ветрами усы, потерял бороду, прошитую местами кудельной ниткой седины. Подошел к отцу, хлопотавшему возле шалаша. Спросил с той же грустинкой, маскируемой насмешливостью: – Ну как, красивый я?

– Дуже красивый. Надо б краше, да некуда.

– То верно, отец. Родной сынишка боится. Хочу взять его, а он затрясется весь, засучит ножонками, зайдется в плаче, аж посинеет, того и гляди, животишко надорвет... И за что меня Бог покарал? За что? Уж лучше бы насмерть! – Долго сдерживаемая боль, накопившись, всколыхнулась, прорвалась, выплеснулась наружу. Всегда такое доброе лицо Петра искривилось страданием, в голубовато-серых, как у отца, ласковых, мягких глазах сверкнули лезвия острой озлобленности. – Зачем повезли нас туда? Без патронов – с одними ширинками да иконами? Зачем? Не помог и Георгий Победоносец – побили нас, как рассукиных сынов! Вчистую размолотили!.. А зачем, я спрашиваю? Что мне до тех желторожих? Пушай бы наш царь один сцепился с Микадовым-то и волтузили б друг дружку! У нас и без япошек хватает врагов – одни Савкины чего стоят! Живой, что ль, старик-то? Ну да... Черт его заберет – двести лет жить будет, бирюк!.. Федька Орланин умнее поступил: выскочил в Аткарске из скотиньего вагона, в каком нас везли на убой, только его и видали...

– Дезертир, значит?

– Дезертир ай еще кто – один черт! Убег – и молодец. Постарше нас и поумнее оказался. И свово адмирала Макарова не захотел повидать – его, вишь, япошки потопили...

– Ну, ты вот что, Петро... Бог правильно тебя покарал: балакаешь многонько, а таких Он не любит, Бог. Послушай меня, батька дурное не присоветует. О войне, о желторожих, об Орланине помалкивай. Язык свой придержи: не ровен час, вырвут. У императора голова, поди, лучше твоего устроена, знает, что надо делать, с кем воевать и прочее...

– Знать-то он знает...

– А ты помолчал бы все-таки, – не злобно, но властно остановил Михаил Аверьянович сына. – Помолчи, когда отец говорит. Сколько уж ден прошло, как возвратился, а не спросишь, как мы тут живем-можем, шо нажили, шо прожили, шо вспахали-посеяли...

– Тять, а когда ты отучишься балакать по-хохлацкому? – улыбнулся Петр.

– Мабудь, никогда. До самой могилы не забуду... – Михаил Аверьянович вдруг посветлел лицом, отставил вереву, которую собирался врыть в землю, распрямился во весь рост, широко развернул плечи, как бы собирался взвалить на них большой и драгоценный груз. Радостно улыбнулся чему-то своему, далекому и, верно, очень дорогому для него. Потом, сразу же погрузнев, вздохнул: – Мабудь, не придется уж побывать в тех краях, на Полтавщине, глянуть хоть одним глазком на Днипро...

– Ну а как же вы тут жили, расскажи, тять? – спросил Петр, очевидно, для того только, чтобы отвлечь батьку от нерадостных дум.

– Жили-то? – заговорил Михаил Аверьянович, как бы очнувшись. – Да как тебе сказать? Всякое бывало, Бога гневить нечего. И из нашей трубы дым шел. Кто варит щи со свиной, кто – с одной святой молитвой, а дым одинаков. Одного цвету, одному очи промывает, другому выедает...

– Трудно, стало быть, жили.

– Трудно, Петро, ой, трудно! – подтвердил отец, и это было его единственное признание. И, как бы устыдившись, заговорил весело, с нарочитой беззаботностью: – Потом-то полегче стало. Я в саду с бабушкой твоей копаюсь. Микола, Пиада и Дарьюшка в поле, на гумне. И Павло стал трошки подсоблять. Правда, избаловал я его очень, да ничего, пройдет с ним это... А Ванюшка твой прямо на поле, под телегой, и родился. У Березовского пруда. Пиада приняла ребенка. Ей это в привычку. Всех вас в саду на свет-то, как птенчиков, вывела. Вот так и живем. Ну, пожалуй, и за работу пора. Полдень. Заболтались мы с тобой. Ты почистил бы терн-то. Разросся, окаянный, никакого с ним сладу. Бабы половину ягод оставили, поободрались в кровь. У Дарьюшки до сих пор заноза в пятке торчит, никак ее оттуда не вытащишь. Молодец она у тебя – огонь в работе. С ней легко. Зыбку вот ей надо смастерить для Ванюшки. От грудей не оторвешь, шельмеца...

Петр Михайлович взял небольшой, остро отточенный топор и пошел к терновнику. Сквозь голые, обнажившиеся ветки увидел сорочье гнездо – на том самом месте, где оно было всегда. Что-то сладко ворохнулось в груди, потеплело в глазах. Сколько же сорочинных поколений вывелось в этом старом гнезде, сколько шумных крикливых свадеб сыграно в колючем терновнике, ревностно охранявшем немудрый сорочий уклад от вмешательства огромного числа недругов! Глупые стрекотуньи, знают ли они, чьими руками создан для них этот мир? Верно, нет, не знают, не ведают, потому что они всего-навсего птицы, а птицам и не полагается знать того, что должен знать человек...

Петр усмехнулся этой странной, неожиданно пришедшей в голову мысли и не спеша затюкал по старым, отжившим свой век кустам. Позже он подошел к крыжовнику и там увидел гнездо.

«Все как прежде, – с радостным удивлением подумал он. – Кто же тут теперь поет песни? Должно быть, какой-то правнук или даже праправнук того, первого, певуна. Долог ли соловьиный век! А батька наш молод, у него вон ни единого седого волоса ни в бороде, ни на висках. Яблони малость постарели, но на смену им растут новые, вон как тянутся, догоняют! Спилит отец старый сучок, а рядом заместо высохшего три-четыре новых вырастают. И плоды все те же. Только следить надо, чтобы не одичали».

Врачующая, животворящая сила сада укутала, запеленала во что-то мягкое и теплое больное, потревоженное сердце солдата. Петр присел на остывшую, холодную землю рядом с уснувшим на зиму муравейником, закурил, блаженно выпустил через ноздри щекочущие колечки дыма и, следя, как они, поднимаясь все выше и выше, увеличиваются в размере и, расплываясь, постепенно исчезают, растворяются в мутно-синем воздухе, негромко, вполголоса запел:

Папироска, друг мой ми-и-лай,

Как мне тебя не ку-ри-и-ить?
Я ку-у-урю,
А сердце бьется,
А дым взвива-и-ца кольцом.

Собственный голос убаюкал его, укачал в тихих волнах. Петр задремал. Синицы, снедаемые любопытством, перепрыгивая с ветки на ветку, приблизились к человеку и зачулюкали, заговорили о чем-то громко, часто, озабоченно и непонятно.

Однако Петра разбудили не синицы. За Игрицей, у Вишневого омута, раскатисто грохнул винтовочный выстрел, одновременно с выстрелом звонко щелкнуло о ствол яблони, и красноватая щепка взвилась с тягучим жужжанием, покружилась в воздухе и упала к ногам Михаила Аверьяновича. В соседнем саду, у Рыжовых, раздался короткий девичий вскрик. С минуту стояла тишина. Все чего-то ждало в немом оцепенении. И потому Харламовы не очень удивились, когда на тропу из-под кустов калины и вишен выскочил человек. Он тяжело бежал, спотыкался, падал, вновь вставал и на ходу хрипло, измученно просил:

– Аверьяныч!.. Укрой... спрячь... Убьют, подлецы...

– Дядя Федя, дядя! – бросился наперерез Пашка. – Иди сюда! Скорей, скорей! Я тебя спрячу – никто не отыщет! – Красный от возбуждения, с горящими глазами, мальчишка тащил Орланина в малинник, где давно и тайно от братьев вырыл землянку, в которой свято хоронил все свое немалое ребятишье богатство: козны, чугунок, пугач, купленный отцом в Баланде на прошлой осенней ярмарке за четвертак, самодельную шашку, две рогатки, кнут с волосяным хвостиком, подаренный старым и добрым пастухом Вавилычем, и еще многое-многое другое.

Федор Гаврилович с помощью Пашки втиснулся в узкое отверстие, молча протянул оттуда черную волосатую руку, сильно пожал Пашкину коленку.

– Спасибо, парень. Теперь закопай-ка меня чем-нибудь.

Пашка вмиг забросал землянку сухими ветвями малины, для большей маскировки несколько кустов воткнул сверху – мол, растут! – и, страшно довольный собою, побежал к шалашу. Туда же направлялись от Игрицы двое вооруженных винтовками – Андрей Савкин и урядник Пивкин.

– Где он, показывай! – встав у двери и закрывая собою свет, спросил Савкин. Ноздри у него раздувались, как у долго скакавшей лошади, из них разымчиво, в такт колыхающейся груди вылетал пар. Борода спуталась и висла мокрыми темными клочками. Толстый Пивкин стоял немного поодаль и тоже тяжело, шумно дышал: – Где Орланин? Я тебя спрашиваю!

– Ты, Гурьяныч, на меня не кричи. Не то как бы опять... Я ведь твоей штуки-то не боюсь. Ишь ты, выставил ружье-то! – Михаил Аверьянович медленно поднялся с кровати и встал против Савкина. – Упустили, так пеняйте на себя. Выходит, плохие из вас царевы слуги. А я ничего не бачил. Понял?

– Тять, я видал! – подскочил Пашка.

Отец вздрогнул, что-то оборвалось у него внутри.

Но сын продолжал:

– Только не знаю, кто это, мимо нашего сада прямо в Салтыковский лес – шашть. Вон под тот пакленик нырнул. Гляньте, во-о-он под тот!

В голосе его и во всей порывистой фигуре было столько искренности, что преследователи поверили. Для очистки совести заглянули под кровать, в терновник, покурили там с портартурским героем и благополучно удалились. У реки плеснуло веслами, и скоро, уже на том берегу, послышались голоса, гулко и во множестве повторенные над Вишневым омутом услужливым эхом:

– Не пымали, ваше благородие. Промахнулись. В лес убег. Да вы не беспокойтесь, мы все одно изловим. От нас не спрячется...

Михаил Аверьянович отер с лица пот, обильно выступивший уже после того, как Савкин и Пивкин ушли, строго глянул на младшего сына и очень убедительно, памятно пообещал:

– А ты, Павло, не лез бы в такие дела, слышь? Засеку до смерти, сукиного сына!

«Сукин сын» было у Михаила Аверьяновича самое грозное ругательство.

– Человек не исполнил присяги и за это должен держать ответ.

– Перед кем? – спросил подошедший Петр, недобро глянув в отцовы глаза.

Михаил Аверьянович сердито засопел:

– Перед Богом и перед царем – вот перед кем.

– А чего ж ты не показал землянку? Может, покликать Пивкина? Недалеко, чай, ушли...

Отец не ответил. Прикрикнул только:

– Идите работать. А ты, Павло, покажи мне своего арестанта.

В малиннике, у землянки, долго и тихо говорили о чем-то. До братьев долетели лишь последние слова.

– Спасибо, Аверьяныч, век не забуду, – говорил Орланин. – Уж ты не ругай меня, такой уродился... непутевый.

– Оставайся. Нас это не касается, – говорил отец.

Потом Федор Гаврилович подошел к братьям. Те с удивлением разглядывали его.

– Что, не узнаете, хохлята? – спросил он, и смуглое, почти черное лицо его осветилось хорошей улыбкой.

– Узнали, дядя Федя, – сказал за всех Пашка. – Но ты не такой какой-то стал.

– Все приметил, глазастый! Примечай, Павлуха. Сгодится... – И вернулся к себе в землянку, оставив Харламовых в состоянии крайнего удивления.

Михаил Аверьянович стоял возле кубышки – по щепке, упавшей возле его ног, он тогда еще понял, что пуля попала в его любимицу. В одном метре от земли, в том месте, откуда яблоня начинала разбрасывать во все стороны мощные свои побеги, зияла глубокая рана. Из нее струился и не шибко сбегал по коре хрустальной прозрачности красноватый сок. На лице Михаила Аверьяновича явилась невыразимой силы боль. Такое бывает с человеком, когда он видит покалеченное малое дитя, которому очень больно, но дитя не понимает, за что же, зачем ему сделали больно, – плачет, и все.

– Супостаты, – прошептал Михаил Аверьянович сиплым голосом. – Что они с тобой сделали? Очень больно?.. Ну, мы сейчас, сейчас полечим тебя, кубышка, не плачь... – Он снял с пояса садовый нож и начал осторожно, как хирург, очищать рану от осколков древесины. Затем велел Пашке принести ведро воды из Игрицы. Замешал глину, замазал углубление, а поверх ствола туго обтянул куском крапивного мешка. – Ну, как теперь? Полегче маленько? Хорошо. Весной зарубцуется.

– У нее зарубцуется, – обронил за спиной отца Петр и будто кипятком плесканул на эту широкую согбенную спину.

Михаил Аверьянович выпрямился, глянул на «старшого», тяжело выдохнул:

– Ироды!

И сам не мог понять в ту минуту, к кому обратил великий гнев свой – к тем ли, кто поранил яблоньку, или к тем, кто сделал инвалидом сына.

– Тять, ты того... отдохнул бы, а? – Петру захотелось сказать отцу что-нибудь доброе, хорошее, а слов не было, и во рту уже пересохло. Он отвернулся, заспешил в терновник и начал бросать в рот кисло-сладкие, покинутые в зиму ягоды. Терпкие, они вызывали обильную слюну. Петр Михайлович жадно пил эту бражную слюну и, хмелея, остывал. Какие-то невидимые пружины, взявшие было сердце в железные тиски, ослабевали, отпускались понемногу, в груди становилось просторнее, дышалось вольготней, на лбу высыхал пот.

Рядом затрещал плетень. Кто-то спрыгнул на землю, а через минуту высоко над терновником поплыла гордо и беспечно поднятая чернокудрая красивая голова Ваньки Полетаева, единственного сына Митрия Резака, соседа Харламовых.

– Здорово, шабер! – приветствовал он Петра, озорно сверкнув карими глазами. За его спиной, за плетнем, мелькнул белым крылом платок, на мгновение показалось и спряталось румяное девичье лицо, будто там, в саду Рыжовых, кто-то, дразня, поднял и тут же опустил букет алых роз.

– Здорово, Иван! Погуливаешь? – И Петр, подмигнув, кивнул в сторону плетня. – У Фроси, что ли, у Вишенки был?

– У нее, – признался Иван и хотел было еще что-то сказать, но промолчал: к ним от шалаша торопился Николай.

Из-за леса серой тенью неслышно подкралась туча и сразу же закрепила, точно просеивая сквозь сито, мелким дождиком – холодным, липким, привязчивым, как судьба. Сад вмиг поскучнел, зароптал, опутанный серою пряжей почти невидимых дождевых струй. Синицы примолкли. Нагие ветви почернели, зябко встряхивались, с них закапали на землю мутненькие, старушечьи слезинки. Две такие капли висели на острых кончиках Петровых усов, он их не смахивал, внезапно пораженный вязкой, свинцовой усталостью. Николай сидел на мокром пеньке злой, нахохлившийся. Пряди огненно-рыжих волос прилипли к наморщенному, сердитому лбу.

В саду Рыжовых звонко и часто зашлепали башмаки.

Вечерело. Стало совсем уныло.

– Пошли домой. Поздно уж, – сказал Николай и первым поднялся с пенька.

17

Илья Спиридонович Рыжов, маленький, тощий мужик, славившийся в Савкином Затоне больше скупостью, нежели какими-либо иными качествами, совершенно неожиданно для селян первым последовал примеру Михаила Аверьяновича Харламова. Купил за полцены у спившегося вконец барина клочок лесных угодий и по соседству с харламовским садом заложил свой. Вслед за Ильей Спиридоновичем Рыжовым таким же образом поступил Митрий Резак, за Митрием Резаком – Подифор Кондратьевич Коротков. Не захотел отставать от соседа и Карпушка: поднатужился и прикупил немного леса, выкорчевал его с помощью Харламовых и воткнул для развода две яблоньки. Скоро, однако, яблони эти потонули в высоченной крапиве, были заглушены ею и влачили жалчайшее существование. Осенью крапива высыхала, весной, в разлив, на нее наносило толстый слой ила, где видимо-невидимо разводилось всякой ползучей твари: ужей, ящериц и даже змей. Тем не менее Карпушка очень гордился и дорожил своим садом. Когда его спрашивали вечерней порой, куда направляется, Карпушка со степенной важностью отвечал: «Сад бегу проведать. Мальчишки, нечистый бы их побрал, доняли!»

Насчет мальчишек Карпушка, конечно, малость преувеличивал: делать им в его саду было решительно нечего, к тому ж они очень боялись змей. Карпушкин сад имел для его владельца скорее символическое значение. Что же касается яблук, то их было предостаточно в соседних садах. Карпушка имел все возможности вкушать плоды харламовского, рыжовского, Подифорова и полетаевского садов. Через плетень к нему свешивались кусты Подифора Кондратьевича и Ильи Спиридоновича. При сильном ветре много самых спелых яблок падало на Карпушкину сторону, становясь таким образом его собственностью, – тут уж бывшая супруга Карпушки, особенно ревностно следившая за садом Подифора Кондратьевича, ничего не могла поделывать: Карпушка имел все законные права собирать любые яблоки на территории «своего сада» и уносить их в шалаш. Шалаш этот, размеров преогромных, откровенно не соответствующих охраняемому объекту, был воздвигнут возле одной яблони, которую уже успело расще-

пить молнией, все время почти пустовал, так как хозяину его вовсе было не до сада: он весь был поглощен заботой о хлебе насущном и – один, яко наг, яко благ – с величайшим трудом сводил концы с концами.

Как бы, однако, ни было, а Карпушка в числе прочих, весьма почтенных односельчан числился владельцем сада, и одно уже это ставило его как бы в особое положение среди затонцев.

Теперь против омута не стоял темной, пугающей стеною лес, и затонские девчата все чаще появлялись на плотине, купались в Игрице, плескались, озорничали. Воскресными днями с утра до позднего вечера звенели их голоса, и звончее, пожалуй, зазорнее всех – голос Фроси Вишенки, прозванной так за нежно-румяный цвет лица, за влажный живой блеск глаз и за то, что была она вся кругленькая, чистенькая и вечно смеющаяся.

– Чисто спела вишенка, – обронил однажды старший зять Рыжовых, церковный сторож, глуховатый Иван Мороз, придя к тестю поутру и завидя младшую дочь Ильи Спиридоновича.

Фрося только что умылась у рукомойника, но не успела утереться – в длинных черных ресницах ее дрожали синие капли; прозрачные капельки катились и по круглым щекам, висели на смуглом овале подбородка, на мочках маленьких, насквозь просвечивающих розовых ушей, сверкали и в колечках темных волос на висках и шее. И вся она дышала утренней свежестью и блестела, как спелая ягода вишня, умытая росой или коротким ночным дождиком.

С того часу и стали все звать Фросю Вишенкой: и мать с отцом, и сестры, и подруги, и парни. Вишенка да Вишенка. Собственное имя ее постепенно забылось и произносилось разве только в церкви отцом Василием, когда в его руки среди множества прочих попадал и семейный поминальник Рыжовых и когда священник, торопясь и спотыкаясь языком о трудные имена, сердито выкрикивал меж других и ее имя. Фрося, стоя среди храма со свечкою в руках, не успевала даже подумать, что это ее помянул батюшка «во здравие», что она «раба божья Евпраксинья».

Фросе минул семнадцатый. Она последняя дочь у отца с матерью, сестры ее все выданы замуж. И Фросю баловали. Мать, по натуре тихая и робкая женщина, как-то все же ухитрялась одолевать лютую скупость Ильи Спиридоновича и наряжать «младшенькую», «синеокою красавицу» свою, на зависть подругам, в самые лучшие наряды. Старалась, конечно, играть на самом больном и потому самом уязвимом – на самолюбии мужа.

– Ильюша, а ты, родимый, глянь-ка на нее, голубоньку. Да краше нашей Вишенки и не сыщешь во всем белом свете! Это и будет она ходить в лохмотьях? Стыду-то!

Илья Спиридонович, видя, к чему она клонит, пыхтел, сморкался, натужно кашлял, всячески показывая, до чего ж не мила ему новая затея сердобольной Авдотьюшки.

– Стыд не дым, глаза не ест! – отвечал он коротко, зло и по обыкновению своему пословницей.

Но Авдотья Тихоновна делала вид, что не примечает мужниного гнева. Певуче, кругло и очень складно продолжала:

– А что люди-то баить будут, батюшки мои родные! Вот, скажут, живет на белом свете Илья Спиридонович Рыжов. Человек как человек, и дом у него пригож, и добришко какое-никакое имеется, и сад развел всем на диво, не хуже харламовского, и яблочишками стал промыслять, а одна-единешенька дочь у него, красавица-раскрасавица, одета плоше всех.

Илья Спиридонович громко и многозначительно крякал.

Авдотья Тихоновна, услышав такое, замолкла и тревожно взглядывала на мужа: «Господи боже мой, неужто опять?»

Кряканье Ильи Спиридоновича предвещало всегда одно и то же, и очень недоброе. Авдотья Тихоновна отлично знала про то и потому настораживалась. Но пока что он крякнул один раз, подал, таким образом, первый, предупреждающий сигнал. До второго, предпоследнего, еще далеко, и она полагала, что успеет допеть свою привычную песнь до конца. Вот только бы

не пропустить второго сигнала – тут уж надобно скоренько умолкнуть и переводить речь на иной лад. Третье кряканье Ильи Спиридоновича будет последним и грозным, как окончательный судебный приговор. Пока же опасность далеко, и Авдотья Тихоновна спокойно, сказочным, певучим строем вела свою линию:

– Да и замуж ей пора. Подвенечное платье припасти, опять же постель побогаче, чтоб не стыдно, не зазорно по улице-то пронести было. Мы с тобой старики, много ль нам надо?

– Старики! – фыркнул Илья Спиридонович и выходил в горницу. Закрывал за собой дверь, но так, чтоб все же слышать, о чем там толкует «безмозглое существо».

Авдотья Тихоновна молчала ровно одну минуту, потом пускала полным ходом колесо прялки и под его музыку, в назойливый, комариный ритм тянула:

– Старики, говорю, мы с тобой. Нам и жить-то, можа, год-два осталось. Вона твой дружок-приятель, Подиффор-то Кондратов, пожадничал и погубил дочь...

Илью Спиридоновича бросало в жар – такое бывает, когда над твоим ухом все время жужжит комар: он и не жалит, но до того тошно и отвратно слушать его привязчивую музыку.

Не выдержав, крякал во второй раз.

Случалось, что Авдотья Тихоновна за шумом прялки пропускала этот грозный знак или уже расходилась до того, что теряла разум и не могла остановиться.

– Отец прозывается! – кричала она, проявляя несвойственную ей храбрость. – Дочь разута-раздета, а ему хоть бы что! Эх, разнесчастливая, и зачем ты только на свет народилась, кровинушка моя...

Илья Спиридонович крякал в третий и последний раз. После этого он подходил к печке. Видя такое, Авдотья Тихоновна бледнела, осеняла себя крестным знамением.

– Молчу, молчу, Ильюща! – испуганной сорочьей скороговоркой твердила она, становясь впереди него и загораживая ему путь. – Господь с тобой! Что же это я наделала, дура старая! Прости меня, Илья Спиридоныч, окаянный меня попутал, грех!.. Да лучше, наряднее нашей никто на селе и не ходит – не одевается, не обувается!..

Но было уже поздно.

– Нишкни! Допелась, ведьма! – Стрельнув в нее короткими и злыми этими словами и отшвырнув от себя, Илья Спиридонович не спеша лез на печь. Это была та самая роковая черта, за которую он переходил, ежели Авдотья Тихоновна накаляла его гнев до крайней точки.

– Караул! – кричала она истошным голосом. – Люди добрые, помогите, остановите его, на печь полез! Караул!

Прибегали соседи, пытались увещевать, стыдить.

Печь молчала.

Теперь она будет молчать и день, и два, и три, пока не минет срок объявленной хозяйном домашней голодовки. По прежним опытам Авдотья Тихоновна, да и соседи знали, что ежели уж Илья Спиридонович, прогневавшись, забирался на печь, то не отыщется на всем свете такая сила, которая могла бы снять его оттуда. Это означало, что три дня и три ночи он не покажет признаков жизни и Авдотье Тихоновне не остается ничего иного, как только глядеть на его толстые черные пятки да самой рубить дрова, убирать скотину, делать все мужские дела, а в последний день голодовки мужа всю ночь до утра печь для него блины; пробудившись от странной своей летаргии, он съедал их несть числа. Пробуждение сопровождалось тем же знаком – кряканьем, к нему лишь прибавлялось почесывание ноги об ногу – первый признак возвращения к жизни. Чесаться Илья Спиридонович начинал еще раньше, задолго до подъема. Приметив это и прошептав молитву, Авдотья Тихоновна торопливо замешивала полную квашню блинов.

– Господи, слава те... никак, мой-то встает! Люди вон уже в поле выехали, пахать начали, сеять, земля высыхает, а он дрыхнет!..

Бывало, что Илья Спиридонович погружался в свою необычайную спячку и летом, когда было особенно жарко и душно на печи. Авдотья Тихоновна, стараясь выжить, изгнать его оттуда, топила печь с особым усердием. Но и тогда не покидал он своего лежбища раньше срока; лежал неподвижно, как упокойник, не шевелился; мух отгонял, отпугивал по-лошадному – энергичным встряхиванием кожи; он даже с этой целью научился вспрягивать своими большими, оттопыренными ушами.

Воспрянув ото сна и подняв облако рыжей кирпичной пыли, Илья Спиридонович долго фыркал у рукомойника над лоханью, тщательно утирался, молился и, покачиваясь, расслабленной походкой направлялся к столу, где в аршин высотой подымалась и курилась, точно Везувий, стопа блинов. Рядом, похожее на белое озерцо, стояло огромное блюдо с кислым молоком, а также тарелка с головкой свежего, только что спахтанного коровьего масла. Неслышно отворялась дверь, появлялся зять Иван Мороз, точно знавший день и час пробуждения тестя и также питавший великое пристрастие к блинам. Переступив порог, он прежде всего высмаркивался, бесцеремонно очищая большой свой красный нос прямо на пол, подходил к столу и спрашивал всегда одно и то же:

– Живой?

– Жив будешь – хрен помрешь. Садись! – резко, с хрипотцой, точно горло у него засорилось кирпичной пылью, непохожим голосом отвечал тесть, сердито отодвигаясь, уступая место рядом с собою.

Авдотья Тихоновна, вздохнув, увеличивала стопу еще на пол-аршина.

Ели молча – это когда у печи суежилась хозяйка или в горнице находилась Фрося. Когда же тещи и свояченицы не было, Мороз подымал правую бровь, хитро взглядывал на тестя и говорил сострадательно:

– Ну и женушку нажил ты себе, отец? И где ты только раздобыл этот вечный кусок? Ничего не бережет – готова все раздать чужим людям. Ну и ну! Хозяйка!

– Век живу – век мучаюсь! – кричал Илья Спиридонович, сразу же подобрев к зятю и выгаскивая из-под пола бутылку самогона или водки, на что, собственно, Мороз и рассчитывал, возводя хулу на тещу: иным каким-либо способом, как бы ни был он искусен, у Ильи Спиридоновича не то что водки, но и запечного жителя – таракана не выпросишь. Способ этот, изобретенный Иваном Морозом, был хорош и в разговоре с тещей, когда она оказывалась дома в единственном числе. Зыркнув по углам и установив таким образом отсутствие хозяина и его дочери, Мороз с притворным сочувствием начинал:

– А где жмот-то твой? Ну и скопидом, чистый Савкин Гурьян! И как ты только, мать, с ним живешь? Другая, мотри, одного бы дня не прожила...

– Ох, и не говори, Иван! – спохватывалась Авдотья Тихоновна. – Чем старее делается, тем скупее. Житья не дает. Как зачнет скоблить злым своим языком, моченьки моей нету! На замок от меня все запирает. И водку небось припрятал... Нет, слава богу, вот она, на месте. Забыл, поди. На-кошь выпей маленькую, зятюшка!

Зятюшка, состряпав на плутовском лице своем смиренное благолепие, почти ангельскую невинность, в два приема опустошал поставленную перед ним бутылку. Уходя, обыкновенно советовал:

– Вишенка еще гожей стала. Поглядывай за ней, мать. Примечаю я, увиваются возле нее двое: Мишки хохла средний сын Колька да Ванька Полетаев. Этого недавно я за церковной оградой, у сиреневого куста, с Вишенкой-то видал. Да и в сад больно зачастил. А все почему? А потому, что рядом с вашим Митрий Резак свой посадил. Сынок его, Ванька, так там и торчит. Слышь, мать? Вот и я говорю: гляди, принесет в подоле...

– Типун тебе на язык, бесстыдник! Нализался и болтаешь пустое. Собрался, наелся, напился – и иди с богом! Звонить вон к вечерне уж пора. Иди, иди, родимый! – И потихоньку выталкивала его, тепленького, за порог.

После трехдневной спячки Илья Спиридонович смягчался. Наевшись блинов и наикавшись вволю, он сам выпрашивал у Авдотьи, что бы такое прикупить для дочери, и, добросовестно, как ученик, повторив все вслед за нею – «для памяти», шел во двор запрягать лошадь. Вечером шумно подъезжал к дому и, хмельной, веселый, кричал:

– Авдотья, туды тебя растуды! Почему не встречаешь? Прямо к Ужиному мосту должна была притить, а ты сидишь! Наряжай Вишенку, как царевну! – и заключал пословицей, им же самим и придуманной: – Бедно живем – на весь свет орем!

Авдотья Тихоновна молча забирала в телеге покупки и уносила в избу, не проявив особой радости: в мужниной пословице ей уж чудились нотки осуждения столь безумной расточительности. А пройдет день-другой, доброта и вовсе иссякнет в не очень-то просторном сердце Ильи Спиридоновича, и он будет пилить ее часами, точить, как ржа железо, за то, что совратила на неслыханные расходы.

Дочь между тем наряжалась. Особенно шел Фросе красный сарафан, купленный отцом в Саратове во время последнего, зимнего хождения с извозом. В нем она была такой, что у встречного сами собой вспархивали с расцветших в доброй улыбке губ по-хорошему завидчивые слова:

– До чего румяна, статна и пригожа!

Фрося вспыхивала вся от этих слов, будто внутри ее вдруг зажегся красный фонарик, и бежала поскорее от сказавшего их, хотя готова была слушать сладкие эти речи и в десятый, и в сотый, и в тысячный раз. Она и так слышала их довольно часто и всегда, волнуясь, охваченная пламенем, думала про себя: «Боже милостивый, как же хорошо родиться на свет красивой!»

18

Воскресными днями Михаил Аверьянович уходил из сада – с утра был в церкви, потом занимался дома по хозяйству: чинил ворота, поправлял плетни, мастерил грабли, трехзубые деревянные вилы, налаживал рыдванку, крюки; пообедав, ехал на гумно, расчищал там от травы ток, покрывал прохудившийся конек риги – готовил все к молотье. И только с темнотой, когда встретит корову, овец, съездит в лес и накосит для лошадей свежего пырея на ночь, возвращался к себе в сад.

Раньше все это время сад оставался без присмотра, и смекалистые, предприимчивые затонские ребятишки быстро оценили для себя выгодную сторону такого обстоятельства: предводительствуемые отважными вождями, всюду расставив караулы, они целыми полчищами вторгались в знаменитый харламовский сад. Больше всех от их разбойных набегов страдали нежная медовка и кубышка с их ослепительно-сочными и ароматными плодами. Михаилу Аверьяновичу очень скоро пришлось изменить свой порядок – теперь, уходя, он на весь день оставлял за себя сына Николая, наиболее надежного для такого поручения. Павла посылать не решался, потому как тот сам с отрядом своих приятелей мог набедокурить больше, чем кто бы то ни было. Петра не пошлешь – опять пристрастился к зелью и ждет воскресенья, как манны небесной; где-нибудь да затеется гулянье, и как же там без Петра? Кто быстрее и искуснее его может пополнить истощившиеся водочные запасы?

– Послухай, Петро, – часто говорил сыну Михаил Аверьянович, говорил тихо, лишь чуть темнея лицом. – Бросил бы ты все это. Пропадешь. Отец тебе говорит.

– Что отец? Я сам отец! – горячился Петр и начинал смешно стричь двумя своими пальцами воздух. – Что мне еще остается делать вот с этою-то клешней? Что? Жену поколотить и то не могу.

– Колотить не ее, а тебя надо.

– Поколотили, хватит с меня.

– Злой, ты, Петро. Нехорошо.

За Петра вступалась Пиада, еще чаще – бабушка Настасья Хохлушка.

– Оставь его в покое, Михайла, – говорила она сыну. – Покалечили мужика, у него и горить все у нутрях. Поди, поди, голубок, погуляй с добрыми людьми, оно и полегчает. Ты, Дарьюшка, не гневайся на него. Отойдет, обмякнет малость сердцем-то, сам возьмет все в разум. А зараз не мешайте ему. Хай трохи остынет, охолонет...

На этом разговор с Петром и о нем кончался. В сад шел средний сын, Николай, довольный таким поручением до крайности. По пути он успевал навестить товарищей и предупредить, что будет ждать их.

Сразу же после обедни в харламовском саду собиралась молодежь. Приходили Ванька Полетаев, Максим Звонов, первый гармонист на селе, с молодой своей женой Оринкой, сестрой Фроси, песенник и весельчак Мишка Песков, голубоглазый богатырь Федотка Ефремов, шестнадцатилетний крепыш и задира, любитель кулачных боев Васька Маслов. Немного погодя появлялась стайка девчат: нарядная Фрося, лучшая ее подружка – насмешница Аннушка, сестра Ивана Полетаева, страсть как влюбленная в Мишку Пескова; грустная красавица Наташа Пытина из Панциревки, тайно и, кажется, безответно влюбленная в Николая Харламова. Чем мог приглянуться ей этот рыженький, злой, невзрачный хлопчик, неизвестно.

С приходом девчат в саду тотчас же становилось светлее и праздничнее, будто небо приклонялось ниже с ясным солнышком. Николай, взяв длинную рогульку – отец его никогда не тряс яблони, а осторожно снимал плоды специально приспособленной жердиной, – начал сры-вать для девчат самые спелые и вкусные яблоки, с каждого дерева по несколько штук. Яблоко падало на землю, девчата вспархивали, как пестрые куры, с криком налетали на него, щипля и отталкивая друг дружку. Счастливица, овладевшая яблоком, немедленно отправляла его в свой алый, влажный и алчуще раскрытый рот, надкусывала торопливо – изо рта ее, с кипенно белых зубов летели брызги, белый сок, как пена, пузырился на щеках и даже на кончике носа; подруги набрасывались на нее, валили наземь и, щекоча под мышками, ловко вырывали искромсанное яблоко. Теперь уже другая тащила его в свой белозубый рот, раскрыв, как цветок на зорьке, розовые, нежные губы, но и ей мешали, и опять визг, счастливые слезы на горящих глазах. Подымались парни, устраивали над упавшим яблоком кучу малу. Захвативший яблоко спешил передать его своей возлюбленной, а та, светясь вся, сияя от счастья, смачно хрустела, окропляя терзающих ее озорных подружек пахучими брызгами яблочного сока. Затем начинали играть. Сначала в карты, в «козла». Потом в «третий лишний», в горелки. А чуть смеркнется, когда в саду сгустятся тени и удод сердито возвестит свое «худо тут», Фрося, ждущая этого часа с испуганно-радостным трепетом в груди, громко захлопает в ладоши, подпрыгнет раза три кряду, закричит:

– Девчата! Наташа! Аннушка, Ориша! Давайте в прятки!

Фрося прячется все время в одном и том же месте – в неглубокой канаве за медовкой. Укрывшись там, она с бьющимся, готовым выпрыгнуть из груди сердцем, со сладкой болью под ложечкой ждет: вот сейчас зашуршит рядом, и он неловко свалится в канаву и, горячий, желанный, обнимет ее и спросит: «Ждала?» – «Угу», – приглушенно ответит она и доверчиво потянется к нему холодными робкими губами. Над ними низко свисают яблони. Иван протянет руку, сорвет одно, сунет в рот девушке, та подымет подбородок поближе к его лицу, хитро подмигнет ему, и, соединив губы, они будут откусывать от одного яблока одновременно; сок потечет по губам, наполнит рот, и, захлебываясь им, как счастьем, они тихо засмеются: Фрося будет играть его мягкими кудрями, влажно спадающими на лоб, на блестящие в темноте глаза; притянув его большую круглую голову, опять поцелует, затем, спохватившись, испуганно скажет: «Иди, увидют!» Он убежит...

Однажды хороводились в саду до поздней ночи. Удод уже трижды предупредил, что «худо тут», что пора, мол, отправляться по домам, коростель скрипел надсадно и особенно

сердито, всполошились невидимые пичуги – залепетали, загалдели, в лесу два раза кликушески прокричал филин, далеко, на Вонючей поляне, зазвонил перепел: «Спать пора, спать пора». Сад устало исходил теплым влажным зноем смешанных запахов росных трав малины, яблок и меда. Сверху на него кропили тихие звезды.

– Ну, хлопцы, пора! – возвестил молодой хозяин и вдруг с удивлением обнаружил, что компания их испарилась больше чем наполовину.

Первыми неслышно ускользнули Мишка Песков с Аннушкой. За ними Полетаев и Фрося – вот это уж было большее всего... Ушла молодая чета Звоновых, тоже втихую. Остались Федот Ефремов, Василий Маслов, робкая Наташа Пытина да он, Николай. Ничего не поделаешь, придется ему провожать Наталью до Панциревки, чего доброго, могут еще поколотить панциревские ребята.

– Федот, Васька! Пошли со мною – Наташу проводим! – попросил он и от досады оглушительно свистнул. Над головами опять вспорхнули угомонившиеся было птицы, суматошно покружили в темноте и пропали где-то. В лесу снова захохотал филин.

– Черт тебя раздирает! – погрозил в темноту Николай и направился к лодке, чтоб перевести всех на ту сторону Игрицы, откуда до Панциревки рукой подать. Мимо Вишневого омута промчались бегом. Как ни храбрились хлопцы, но и они не выдержали – ноги сами несли их подальше от этого темного места. Вишневый омут по ночам был по-прежнему грозен и страшен для людей.

Иван Полетаев и Фрося возвращались в Савкин Затон дальней лесной дорогой. Шли не торопясь. Говорили мало, больше целовались, всякий раз останавливаясь.

– Марьяжный мой, – шептала Фрося, обливая лицо его светом больших, ясных, родниковых глаз. – Мой, мой! Ведь правда, Вань, мой ты... весь мой! Ну, скажи!

– А то чей же? Знамо, твой.

– Понеси меня маленько.

Он легко поднял ее на руки. Понес.

– Ну, будя.

Он не слушался, нес, нес, нес...

– Будя же!

– Поцелуй!

– Ну... вот. Теперь хватит, пусти.

– Ищю поцелуй.

– Ну... вот тебе, вот, вот! – Она звонко чмокала его несколько раз кряду, спрашивала: – Хватит?

– Ищю!

Их спугнули чужие шаги. Кто-то шел навстречу. Да не один, а двое. Фрося и Иван юркнули в кусты, затаились.

– Михаил Аверьянович, – угадал Иван, шепча. – А кто это с ним? Ба, да это ж Улька! Она и есть! Глянь!

Михаил Аверьянович и Улька прошли молча. Михаил Аверьянович держал свою спутницу за руку, как бы боясь, что она может убежать от него, шагал быстро, а Улька едва поспевала за ним.

Фросе почему-то стало не по себе.

– Бежим, Вань! – сказала она, когда вновь вышли на дорогу.

– А куда нам торопиться-то?

– Нет, бежим, бежим! – И, вырвавшись из рук его, она побежала первой. За Ужиным мостом остановилась, прижалась к его горячий, мокрой от пота рубашке, трудно дыша, призналась: – Боюсь я чего-то, Вань...

– Чего?

– Сама не знаю. А боюсь...

Шли по тихой улице. Он говорил ей что-то, Фрося не отвечала. Печальные и не ведающие, отчего печальные, молча и холодно расстались у ворот ее дома. И не виделись больше до самой осени: Фрося не выходила на улицу.

19

Николай Харламов не стал ждать, когда его женят, сам первый заговорил о женитьбе. Назвал и невесту – Фрося Рыжова. Михаил Аверьянович вспомнил румяную толстушечку – ее он часто видел в соседнем саду, – сказал:

– Хорошая дивчатко.

– Как цветок лазоревый, – добавила Пиада и сама расцвела в светлой улыбке.

– А показался ли ты ей? Любит ли? – вдруг спросил отец, и на лицо его тенью наплыло облако.

Откуда-то отозвалась бабушка Настасья Хохлушка:

– Любит не любит, а коли мать с отцом порешат, никуда не денется. Ее и не спросят!

– Так как же, Микола, а? Показался, что ли? – настойчиво переспросил Михаил Аверьянович, оставив замечание старухи без внимания.

– Не знаю, – сказал сын.

– Это плохо, – с тяжким вздохом протянул отец. – А ты прежде узнал бы, а потом уж... Ну, да ладно. Попытка не пытка. Ужо пойдем с крестным отцом твоим, с Карпушкой, посватаемся. Илья Спиридонович – мужик ничего, с головой. И характерец имеет.

– Бают, что скуп, – опять подала свой голос Пиада.

– Неразумная ты баба, – незлобиво глянул на нее муж и, не пояснив, что хотел сказать этими словами, продолжал: – Сейчас пойду к отцу Василию за благословением. А ты, Микола, беги-ка в сад. Припозднился что-то ныне. И вот что я тебе скажу: коли увидишь, не по сердцу ты ей, не по душе – отпусти с богом, не будет у вас жизни. Измучите друг друга, измочалите раньше времени, и, ох, как долог покажется вам век ваш! Попомни мои слова! – И, сурово нахмурившись, Михаил Аверьянович пошел в горницу.

Разговор этот происходил в воскресенье, после обедни, а пополудни Михаил Аверьянович отправился к священнику. Перед тем зашел в лавку и купил все, что полагалось в подарок: бутылку водки – для попа, для попадьи – красного вина, дорогих конфет и сахарных пряников. Сверх того, еще дома прихватил корзину яблок – с лучших деревьев – медовки, кубышки, анисовки и белого налива. Он принес их из сада на заре, и яблоки еще хранили аромат ночной прохлады – они были сизые от росы, словно бы вспотевшие, от них исходила тонкая вязь множества разных запахов. Запах этот вторгнулся в широкий нос отца Василия, крылья ноздрей дрогнули и поднялись, надулись парусом. Приняв подарки прежде, чем узнал, с какой нуждой пожаловал к нему старший Харламов, священник под конец спросил:

– Пошто пришел, сын мой?

Михаил Аверьянович сообщил.

Отец Василий оживился:

– Хорошее мирское дело задумали. И выбор невесты хорош. Часто доводилось зрить сию отроковицу в храме господнем. – Отец Василий кинул короткий скользкий взгляд на поджавшую губы, сердитую попадью и продолжал: – Набожна, скромна. Доброю будет женой мужа свояго и хорошею матерью дети своя. Да благословит их Бог!

После этого полагалось выпить по рюмке, но Михаил Аверьянович не мог пить даже при таких чрезвычайных обстоятельствах. Впрочем, отец Василий не был в большой обиде на него: великолепно выпил один, звонко закусив яблоком с кубышки.

Вечером, позвав с собою Карпушку, неслышанно обрадовавшегося этому событию, Михаил Аверьянович отправился к Рыжовым.

Илья Спиридонович суетливо ходил по избе и что-то бормотал себе под нос. Он уже знал, что скоро нагрянут сваты. Новость эту принесла ему Сорочиха, узнававшая раньше всех обо всем на свете в Савкином Затоне. На этот раз ей рассказала Настасья Хохлушка.

Авдотьи Тихоновны дома не было: «ускакала безумная баба» в Астрахань проведать дочь Варвару, которая оказалась так далеко от родительского дома по причине своего девичьего легкомыслия. Однажды в Савкином Затоне объявился, промышляя воблой, удалой астраханский рыбак, по имени Федор. В непостижимо малый срок он оболестил «старшую» Рыжовых, да так, что Илье Спиридоновичу, дабы избежать «страму», пришлось быстрехонько выдать ее замуж за неведомого Федора. Для ускорения дела Илья Спиридонович пригласил урядника Пивкина, так как будущий зять поначалу не изъявил горячего желания жениться. С той поры Илья Спиридонович возненавидел лютой, неукротимой ненавистью всех «странних», ожидая от них какой-нибудь напасти. Известие, принесенное Сорочихой, повергло его в крайнее смятение: с одной стороны, Харламовы – определенно инородные, «откель-то аж из хохлов», и посему не могут быть чтимы им, Ильей Рыжовым; а с другой стороны, что, собственно, и приводило Илью Спиридоновича в замешательство, они, Харламовы, «кажись, люди порядочные, не драчуны, как, скажем, Митьки Резака сынок Ванька, опять же крепенько за землю ухватились, вклешились в нее, не отдерешь. И сад первеющий на селе», – вот тут и призадуматься!

– Однако ж надо одеться. Вот-вот придут! – заговорил он вслух, шастая по избе. – Не любо, а смейся! Пушай приходят, шут с ними: заломлю такую кладку – глаза на лоб у них полезут! Выдюжат, не надорвутся – значит, быть тому, их Фроська. А коль кишка тонка – от ворот поворот. Так-то!

Пока было время, Илья Спиридонович старался во всех подробностях продумать кладку, которую он потребует за свою дочь. К приходу сватьев кладка была определена. И чтобы не пропустить чего, Илья Спиридонович вслух перечислял. При этом лицо его носило печать крайней озабоченности.

– Перво-наперво, конечно, ведро вина, водки, значит. Так? Не мало будет? Нет, довольно с них, надо ж и совесть знать. Мяса пудика полтора. Шубу овчинную для невесты, дубленая чтоб. Так? Деньжишек три красеньких, тридцать, значит, рублей. Так? Ищо чего? Как бы не забыть, господи ты боже ж мой!.. Ну, да ладно, вспомню потом – не на пожаре. Надо ищо позвать Сорочиху, пушай позвонит по селу о кладке. Можя, побогаче жених отыщется... А ежели Харламовы сами при деньгах, пушай они и будут сватьями, породнимся. Бают, жених больно уж плюгавенький, да что с того? Иной и красив, да гол как сокол. Красен рожей, да тонок кожей! Так-то вот!

Взвесив, таким образом, все, договорившись до конца с самим собою и успокоившись, Илья Спиридонович ожидал теперь сватов во всеоружии. Фросю, недоумевающую и встревоженную, еще раньше выпроводил к зятю Ивану Морозу, проживавшему в хилой своей избенке на задах Рыжовых, и велел не приходить домой, пока не покличет.

Сваты явились часу в девятом. У порога долго и согласно молились. Михаил Аверьянович, гладко причесанный, в светло-серой поддевке, в блестящих, густо смазанных сапогах, странно напоминал луна. Рядом с ним маленький чернявый и тоже старательно причесанный Карпушка совсем уж походил на грача. От них пахло скоромным маслом, свежим деготьком и яблоками.

Первым заговорил Карпушка:

– Прослышали мы, Илья Спиридонов, про то, что у тебя есть курочка-молодка, и пришли узнать-попытать, не продашь ли ты ее для нашего петушка?

– Проходите, гости дорогие. Присаживайтесь, – важно, но, как всегда, резко, отрывисто начал хозяин, указывая на лавку возле стола. – Есть курочка-молодка, да велика цена.

– Неужто не срядимся? – спросил Михаил Аверьянович, присаживаясь и неумело встряхивая на Карпушку бровью: молчи!

– Отчего же не срядиться? Товар хорош. Какой же купец откажется?

– Це так.

– То-то же и оно!

– Что ж, Илья Спиридонович, сказывай кладку-то твою.

Илья Спиридонович быстро, без единого роздыха назвал все.

Карпушка сокрушенно свистнул. Михаил Аверьянович больно прищемил ему под столом ногу, а хозяину сказал:

– Побойся бога, Илья Спиридонович! За тридцать-то карбованцев лошадь можно купить, а ты окромя еще рублей на сто пятьдесят всякого добра требуешь. Куда ж это годится?

– За принцессу небось и то меньше просят, – поддакнул Карпушка.

– Тогда идите в другой дом. Девочек ныне развелось много. Можя, какой дурак без кладки вовсе отдаст свою дочь.

– Послушай, Илья Спиридонович, нашу кладку, что мы положим. Ведро вина, так и быть, даем! А мяса и полпуда хватит – откель оно у меня, мясо-то? Хозяйством не больно давно обзавелся, на яблонях мясо не растет.

– Растет! – сказал-выстрелил Илья Спиридонович.

Михаил Аверьянович понял его, чуть улыбнулся в белые усы и спокойно продолжал:

– Ну, шубу – куда ни шло – огореваю для любимой невесты, обувку тоже, а насчет денег, не обессудь, нет у меня грошей.

– Мне твои гроши и не надобны. Ты рубли клади. Ай опять не растут? – выкрикнул Илья Спиридонович, ехидно усмехнувшись. – А коли не растут, то незачем и дело затевать. Без вас отыщутся сваты. Моя дочь не засидится в девках, – прибавил он с тихой гордостью.

– То верно, – согласился и Михаил Аверьянович, вздохнув.

– Верно-то верно, – не удержавшись, встрял Карпушка. – Да больше-то Михаила кто положит? Можя, Митька Резак? Да он удушится за копейку. Покажи ему семишник и вели с кулугурской колокольни сигнуть – сиганет как миленький! Он вроде тебя, любит дармовщину...

Последние слова были явно лишние. Карпушка уж и сам пожалел, что сказал такое, но пожалел с опозданием. Хозяин взвыл, точно бы на него кто варом-кипятком плесканул:

– А ты, голоштаный брехун, зачем приперся в мой дом? Тоже мне сват-брат! Голь несчастная! Вон шинка-то порвана, идешь по улице, колоколами-то своими звонишь. Срам! А туда ж, в мирские дела суется! Ни уха ни рыла не смыслишь!

Карпушка потемнел, словно бы вдруг обуглился, сказал необычно серьезно:

– Стыдно, кум, человека бедностью попрекать. Ты ведь христианин. Эх! – и, задохнувшись, махнул рукой, замолчал.

Но старая обида на Карпушку всколыхнулась, соединилась с новой, и старик Рыжов озвучил:

– Ты меня не учи. Ученого учить – только портить!

Когда-то Карпушка зло посмеялся над Рыжовым, о чем Илья Спиридонович не мог, конечно, забыть.

Отправившись однажды с пустым мешком в Варварину Гайку, чтоб разжиться мукой, шел Карпушка через Малые гумны. По дороге встретился с Ильей Спиридоновичем. Тот предложил:

– Давай-ка присядем на канаве, Карпушка, да покалякаем. Можя, соврешь что-либо. Без твоей брехни прямо как без курева, ей-богу. Соври, голубок, – смиренно попросил Илья Спиридонович.

Карпушка внутренне ухмыльнулся, пресерьезно сообщил:

– Неколи мне, кум, – он всех затонских мужиков именовал кумовьями, – тороплюсь.

– Что так?

– Прискакал давеча ко мне гаевский Равчеев Мишка, сказывал: пруд у них ушел – плотина прохудилась. Вода, стало быть, вся как есть вытекла, а рыба осталась. Ее, говорят, там видимо-невидимо! Кишит! Дай, думаю, побегу, мешочичко свеженьких карасиков наберу! Так уж ты, Илья Спиридонов, не обессудь – спешу. – И, подхватившись, Карпушка рысью помчался в направлении Варвариной Гайки.

Озадаченный, Илья Спиридонович стоял на прежнем месте.

«Врет ведь, подлец! – мысленно рассуждал он. – А похоже на правду. Сам на днях был в Гайке, видал пруд энтот: плотинешка на ладан дышит...»

Распаленное воображение в один момент нарисовало перед очами Ильи Спиридоновича заманчивую картину: на дне бывшего пруда «серебром и золотом» отливает, трепещет осянная солнцем рыба; караси размером в церковный поднос, с коим ктитор обходит верующих во время обедни и собирает медяки; длинные зубастые щуки, жирные лини. К пруду со всех концов деревни бегут люди, кто с чем: кто, как вот Карпушка, с мешком, кто с корзиной, кто с ведром, кто с мерой, а кто решето прихватил. Орут, дерутся из-за крупной рыбыны...

«Брешет, мерзавец! – думает Илья Спиридонович, чувствуя, как руки его знобко дрожат, на горячем лбу выступает пот. – Язык без костей, наврет – попрут со всех волостей! Народ глупой!» – не поверил Карпушке Илья Спиридонович, ни капельки не поверил и все-таки, вернувшись домой и вскочив на лошадь, поскакал в Варварину Гайку, жене сказал: в поле, посмотреть хлеба. «Шут его знает, а вдруг правда?» – подумал он в последнюю минуту.

На горе, далеко за кладбищем, обогнал Карпушку, тот крикнул вдогонку:

– Поторопись, кум, поторопись! И на мою долю прихвати, ужо щербу сварим!

Пруд, конечно, был целехонек. Посреди него, зайдя по брюхо в воду, мирно стояли пригнанные на стойло коровы. По краям, зарывшись в грязь, блаженно хрюкали свиньи. На мостках звонко шлепали вальками бабы.

Пот хлынул рекою из-под старенького картуза Ильи Спиридоновича. Стыдливо пряча глаза от уставившихся на него женщин, он подъехал к пруду, дал меринку напиться и, смачно, три раза кряду прошептав, как молитву, ядерное ругательство, повернул обратно. Поравнявшись опять с Карпушкой, который уже приближался к Варвариной Гайке, молодецки перегнулся на одну сторону, точно казак во время рубки лозы, и с наслаждением потянул плетью насмешника вдоль спины.

– Вот тебе караси, пустомеля!

Ошарашенный Карпушка отскочил в сторону от дороги и, обливаясь слезами, обильно выступившими из глаз его и от боли и от смеха, кричал:

– За што ты, кум, меня? Сам же просил соврать!

В тот же день Савкин Затон и все соседние села и деревни узнали об очередной проделке затонского чудака. Илья же Спиридонович надолго сделался предметом злых, обидных шуток. Ребятишки, завидя его, бесстрашно приближались вплотную и, нахально заглядывая в лицо, горланили:

– В Гайке пруд ушел, дяденька, а рыба осталась!

Не удивительно после этого, что Илья Спиридонович питал к Карпушке далеко не самые лучшие чувства. Так что худшей кандидатуры на роль свата Михаил Аверьянович, ежели б и пожелал, все равно не смог бы отыскать во всем Савкином Затоне.

Продолжать разговор с разгневанным Ильей Спиридоновичем было бессмысленно, и незадачливые сватья, сопровождаемые страстной и не очень-то вежливой речью хозяина, удалились.

Из чулана выскочила Фрося. Она, оказывается, еще с вечера вернулась от Морозов и, укрывшись в сених, все слышала. Подбежала, повисла на шее отца и, осыпая его поцелуями, твердила:

– Тятенька! Как ты их!.. Не отдавай ты меня за хохленка эптова! Глазоньки б мои на него не глядели! Придут, завтра же придут другие сваты, вот увидишь, тятенька, родненький, сладкий мой...

– Ну, ну, будя. Яйцо курицу начинает учить. Поди к себе. Марш! Своя голова, слава богу, на плечах – сам и решу. Иди, иди! – Он оторвал ее руки от себя и подтолкнул к передней, фырча: – Отца учить грешно, соплячка! Ступай.

На другой день, как и говорила Фрося, пришли новые сваты – Полетаевы: Митрий Резак со своей родней. Но с этими разговор был еще короче, – тут, видать, нашла коса на камень. Услышав назначенную Ильей Спиридоновичем кладку, Митрий Резак вскрикнул, подскочил как ужаленный и побежал по избе. Поперхнулся собственной слюной, бурно закашлялся и, размахивая короткими руками, скомандовал родне:

– Пошли домой! Кхе-кхе-кхе... – Прокашлявшись наконец, прочищенным, звонким голосом закончил: – С этаким жмотом кашу не сваришь. Пошли! – И первый выскочил во двор.

Между тем Сорочиха не дремала: сваты повалили валом. В числе их был и Гурьян Дормидонтович Савкин, задумавший женить внука, Андреева сына Епифана – Пишку, как его звали затонские парни. Гурьян явился один среди бела дня, вошел в избу, прислонил к печке посох и встал пред образами. Теперь шерсть на нем была не бурой, а какой-то сивой, грязновато-зеленого цвета. Глубоко в одичавших зарослях, никогда никем не прочищаемых, мутно поблескивали крохотные болотца свирепых Гурьяновых глаз. Он был более прежнего важен, куражист: третьего дня за Большими гумнами, на Чаадаевской горе, встречал хлебом-солью саратовского губернатора графа Столыпина, направлявшегося через Савкин Затон по делам службы в Баланду и Балашов. Губернатор и ранее был наслышан о верноподданном старике Савкине и теперь назначил его главным распорядителем по наделу отрубов затонцам – в ту пору граф только что приступил к осуществлению своей земельной реформы.

Фрося, догадавшись, зачем пожаловал к ним этот страшный гость, забилась опять в чулан и дрожала, как осиновый лист в непогоду. Воздев руки к потолку, она прочла страстно и горячо все молитвы, какие только знала. Потом вспомнила про мать.

– Мама, мама, милая, родненькая моя! Что же ты оставила меня одну! – причитала Фрося над собой. – Приезжай поскорее. Спаси меня, не дай погубить. Мама!

Однако в дом Савкиных Илья Спиридонович и сам не пожелал отдать своей дочери. Солгал Гурьяну:

– Нет, Дормидоныч, погожу ищю годик-другой, молода. Да и жалко расставаться – последняя.

– Ну, как хошь. Твой товарrrr, – прорычал Савкин и, захватив у печи свою толстую, с полупудовой шишкой на конце палку и стуча ею об пол, не спеша вышел во двор. Во дворе постоял, обвел медленным взором постройку, понюхал воздух, заглянул потом в хлева и только после этого по-медвежьи выкатился за ворота. Постоял еще на улице, рассматривая дом Рыжовых со стороны. Затем, тряхнув гривой, пошагал по направлению к лесу, уверенно попирая землю толстыми босыми пятками.

В последующее воскресенье вновь пришли первые сваты. На этот раз Михаил Аверьянович взял с собой не Карпушку, а старшего сына, Петра. Михаил Аверьянович сразу же спросил:

– Не передумал, Илья Спиридонович, насчет кладки-то?

– Нет, – отрубил Илья Спиридонович.

– А давай-ка, мужики, решим умнее, – заговорил Петр, положив двухпалую, единственную свою руку на стол. – Решим по-божески, по-христиански: ты, Спиридоныч, уступи маленько, а ты, отец, маленько прибавь, да и делу конец. И будет свято!

Предложение порт-артурского кавалера неожиданно возымело на Илью Спиридоновича положительное действие. Он заметно пообмяк, подобрел, заговорил менее резко:

– Да я что ж... я готов. Люди вы хорошие. Хозяева. Давайте будем толковать.

Столковались, однако, только к рассвету. Илья Спиридонович уступил всего лишь на одну красненькую, а прочее осталось прежним.

Начался «запой». Позвали родственников, Фросю, которой объявили, что судьба ее решена. Не спавшая много ночей подряд, истерзавшаяся душою, с красными опухшими веками, бледная, подурневшая, она выслушала отца с полным безразличием, словно бы речь шла о ком-то другом, низко поклонилась всем и ушла в свой чуланчик.

Остальные дни до свадьбы Фрося жила тихо, неслышно, незаметно. Собирались девичники, на них приходил Николай Харламов со своими хмельными товарищами, играла гармонь, девушки пели длинные грустные песни, затем самые близкие приятели жениха и подруги невесты оставались на ужин, угощались. Фрося сидела меж ними, задумчивая, отрешенная от всего на свете. Когда ее спрашивали о чем-нибудь, вздрагивала, быстро кивала и улыбалась – чему, и сама не знала. Вывел ее из такого состояния случай, о котором потом долго судачили в Савкином Затоне.

Мать Фроси Авдотья Тихоновна вернулась из Астрахани и приехала к себе домой ночью, как раз во время девичника. В сенях Илья Спиридонович ее поприветствовал и впервые сообщил, что просватал дочь. А за кого – почему-то не сказал. Пахнувшая дорогой, сыростью большой реки и копченой рыбой, расцветая улыбкой, мать поплыла в переднюю. Молодежь расступилась, прижалась к стенам, к голландке, освобождая ей путь. Авдотья Тихоновна сначала подошла к дочери, поцеловала ее:

– Господь с тобою, доченька. Будь счастлива, голубонька!

Потом огляделась, расцвела еще больше и, вся светясь, направилась к... Ивану Полетаеву.

– Здравствуй, голубь сизый! Женишок родной!

Легкий прошелестел по горнице шум.

Иван, красный, вмиг сваренный великим стыдом, шептал ей:

– Не я жених-то, тетка Авдотья! Во-о-он сидит, видишь? Колька Харламов, понимаешь?

– Да ну! – ахнула мать, и, глянув на рыженького щуплого паренька, заляпанного веснушками, которых не могла скрыть даже густая краска, мучительно выступившая на его лице, она тут же увяла, обмякла как-то вся, лицо ее исказилось болью. Часто заморгав, тяжело вышла к печке и там дала полную волю слезам.

Она плакала, а Илья Спиридонович стоял рядом и молча хлестал ее по спине плетью.

Мимо тенью скользнула Фрося, за нею выбежал жених, потом все остальные.

А наутро затонцев поразило новое событие: у себя в риге, на Больших гумнах, повесился Василек Качелин, молчаливый, стройный юноша, вечно чему-то улыбающийся. Казалось, он только и делал в недолгой своей жизни, что улыбался всем и всему робкой светлой улыбкой. Выяснилось, что Василек трижды посылал отца свататься к Рыжовым, но тот все тянул, медлил и запоздал. Узнав об этом, Василек снял со стены веревку и, тихо, загадочно улыбаясь, ушел на гумно. Он и висел с этой улыбкой на бледном, красивом, не изуродованном предсмертными судорогами лице, едва не касаясь земли пальцами босых ног.

Позже Фрося сказывала, что один только раз в своей жизни видела она того парня, да и то издали.

Казалось, что после всего этого свадьбы не будет: сговор сам собой распадется.

20

– Стыд не дым – глаза не ест! – сказал в утешение себе и жестоко избитой им Авдотье Тихоновне Илья Спиридонович.

Однако ни сам, ни жена нисколько не утешились от мудрой этой пословицы. Илья Спиридонович ходил по избе чернее тучи, а Авдотья Тихоновна продолжала потихоньку всхлипывать.

– Не реви, дура! – то и дело выкрикивал Илья Спиридонович, но Авдотья Тихоновна, казалось, окончательно вышла из повиновения, плакала и все.

Фроси дома не было. Укрылась у Ивана Мороза, не показывалась нигде, пока не схлынула первая, небывало сильная и злая волна мирского судилища.

Видя, что его речи мало действуют, Илья Спиридонович прибегнул к испытанному средству – погрузился в трехсуточную спячку, дезертировал на время из жизни, порвав всякие связи с беспокойным миром. Этого срока оказалось вполне достаточно, чтобы затонцы, насытившись, немного утихомирились, а жена и дочь пришли в себя. Пробудившись и истребив положенное число блинов, Илья Спиридонович позвал к себе дочь, неумело поласкал ее, похлопав по плечу. Но заговорил резко, слова вылетали из него, точно искры из-под кузнечного горна, жгучие, острые:

– Поживется – слюбится. Что рожа, что кожа – одно и то же. Зато с голоду не подохнешь! Иной и красив, да зубы на полку положишь с ним. Так-то!

Этим «так-то» Илья Спиридонович всегда подбивал, подытоживал сказанное им, и оно выхлопывалось из него особенно резко и громко, как выстрел.

Фрося ткнулась лицом в его колени, заплакала без слез – их не было, выплакала все. Только плечи вздрагивали под жесткими руками отца.

– Прости, тятенька... И тебя-то замучили мы... – говорила она сдавленно, обжигая отца горячим дыханием.

– Ну, ну, будя реветь! О твоём же счастье пекусь, глупая! И эта старая дура, мать твою, не узнавши броду – бултых в воду! Черти ее принесли. Сидела б в Астрахани у того разбойника с большой дороги!

Авдотья Тихоновна, поджавши губы, молчала.

Побранив ее еще немного, Илья Спиридонович отправился в сад. Там он надеялся встретиться со сватом и потолковать о предстоящей свадьбе.

Сначала зашел в свой. Собрал в мешок сшибленные ветром яблоки, отнес в шалаш. Перетянул на свою сторону ветви, легкомысленно свесившиеся над Карпушкиным садом, мысленно отчитал «пустомелю», пожалел о таком опасном, с его точки зрения, соседстве и только уж после всего этого заглянул через плетень к свату. С удивлением увидел там, возле шалаша, под зерновкой, рядом с Михаилом Аверьяновичем старого Подифора. Они сидели за маленьким, вкопанным в землю столиком и пили чай. Оттуда легкий ветерок навевал запахи меда и малины.

«Наверно, так-то вот люди в раю живут, – подумалось почему-то Илье Спиридоновичу, – сад, в саду праведники сидят, пьют чай с малиной да медом и слушают тихие песни ангелов... Сват – он и вправду безгрешный. Бранного слова от него николи не услышишь. На чужое не падкий. Так-то! А что касаемо Подифора, дружка моего разлюбезного, он на праведника и вовсе даже непохожий. Не украдет – повесится. Знаю я его! По ночам ездит в поле чужие крестцы возить к себе на гумно. Этак-то любой дурак может разбогатеть!.. Однако ж зачем бы это он пришел к свату?»

Обжигаясь крапивой и нетерпимым зудом любопытства, неслышно отругиваясь, Илья Спиридонович пополз вдоль плетня. Оказавшись против харламовского шалаша, в каких-

нибудь восьми шагах от свата и его собеседника, затаился. До него отчетливо долетел неторопливый, приглушенный волнением и мягким украинским «х-ге» голос свата. Речь его была для Ильи Спиридоновича и странной и малопонятной. Изредка ее перебивал хриплый, придавленный тяжким грузом старости бас Подифора Кондратьевича.

– Гоже у тебя тут, – ленивым шмелем гудел Подифор Кондратьевич, обильно обливаясь потом. Морщины на его лице расправились, обнажив на смуглой монгольского дубления коже светлые дорожки, лучами разбегавшиеся во все стороны. – Хорошо, говорю! Дуже просторно. И сердце стучает ровно. А то оно у меня что-то дурить стало, по ночам замирает, сдваивает, будто его кто в тиски возьмет. Не дает полного обороту... А вот сейчас хорошо в грудях, привольно, как, скажи, в ключевой воде выкупался, помолодел, будто... стало быть, женишь второго сына, Аверьяныч? – вдруг спросил Подифор Кондратьевич. – Вот она, жизнь-то какая! Давно ли сам парнишкой был? Давно ли сам за девками... – Поперхнувшись, замолчал, закашлялся. Справившись с приступом кашля, остывая, буря лицом, заговорил опять: – Виноват я пред тобой, Михайла Аверьянович, и пред дочерью своей виноват. Помирать уж пора, срок подходит. А чем замолю грех великий мой? Ведь не простите вы мне никогда!

– Господь простит, – чуть внятно сказал Михаил Аверьянович.

– Что Господь? До него высоко, а вы... вот вы, рядом. Увижу – сосет тут, мочи нет! – правая рука Подифора Кондратьевича поднялась и судорожно коснулась левой части груди, там, где сквозь сатиновую рубаху выступило темное мокрое пятно. – Гляну на Ульку-то, сердце кровью так и окинется. Что я наделал, старый кобель?.. Примечать я стал, Аверьянович, что она опять к тебе прикипела глупым сердцем своим. По ночам имя твое называет во сне. Яблоки и ягоды разные домой приносит – догадываюсь: из твоего сада...

Михаил Аверьянович промолчал, только наклонил ниже большую светло-русую, без единой сединки голову, да пальцы рук беспокойно зашарили по столу, будто искали что. Слова Подифора Кондратьевича больно стучали в его висках. А тот продолжал с неосознанной беспощадностью:

– А вчера вытащила из сундука девичье свое платье. Нарядилась – и к зеркалу. И так повернется и этак... Слезы! И пить вроде поменьше стала... Спасибо тебе, голубок, что призрел несчастную, блаженну дочь мою. – Старое, морщинистое лицо Подифора Кондратьевича покривилось, губы сморщились, дрогнули, мешки под узкими, плавающими где-то глубоко-глубоко в нездоровых опухолях глазами покраснели, весь он немощно задрожал. – И есть еще один тяжкий грех на моей душе, Аверьяныч. Каюсь перед тобой, честным человеком, как перед Господом Богом. Прибегла как-то дочь из твоего сада и говорит, что видела там Федора Орланина. Я возьми да и шепни Пивкину. Позвал он Савкиных. Ну а как потом – сам знаешь: накрыли Гаврилыча, заарестовали, а нынче, сказывают люди, в Сибирь его... Вот оно, какое дело... – Подифор Кондратьевич зашмыгал носом, захлюпал им, как бы плавился весь.

– Вот это погано, Кондратич! – выдохнул со свистом Михаил Аверьянович. – Федор нам зла не делал. За что ж ты его погубил?

– А нечистый меня поймет! Выслужиться, видно, захотел, властям угодить.

– Ну что ж, батько. – Михаил Аверьянович потупился: ему почему-то стало мучительно больно, будто не Подифор, а сам он выдал Федора Гавриловича Орланина. – Погано ты поступил, подлю, да как тебя винить? «Властям угодить»... Вот темнота-то наша! От нее и все зло. А ведь не такие мы, Кондратич, не такие, правду тебе скажу. Вчера спустился к омуту воды для питья достать – она там холодная, как в кринице. Зачерпнул пригоршню, поднял, а она чистая и прозрачная, как слезинка. А с виду-то омут черен и страшен... Так вот и мы: подыми нас повыше, поближе до солнышка – засветимся тоже, потому как душа у народа чистая, родниковая. Только тучи черные над нею висят все время, от них и она, душа-то, темной да жуткой иной раз оборачивается. – Михаил Аверьянович помолчал, перевел дух и продолжал еще

более взволнованно: – Взять хотя бы тебя Подиффор Кондратич, ведь всяко балакают, и больше худое...

В этом месте речи Михаила Аверьяновича за плетнем завозились, кашлянули, но, увлеченные беседой, ни Михаил Аверьянович, ни Подиффор не услышали этого, Михаил Аверьянович говорил:

– Я и сам грешен: плохо, погано думал про тебя. А ты вот пришел, открыл пораненную душу свою, показал все болячки, и я увидал: не черна, а больна она у тебя... А сколько зла по неразумению, по темноте своей причиняем мы природе! Изничтожаем, как саранча летучая, сады – зелену красу и отраду жизни нашей. Портим, поганим, точно плюем в колодец, реки и озера, без которых земля испекется и помрет со всеми нами и со всей божьей тварью... Вот ты пришел и говоришь: легче дышится! А Андрюха Савкин с корнем вырывал эти яблони, когда они были еще младенцами: не понимает жестокий человек, что выдергивает из земли корень жизни. Отчего соловей, самая разумная и звонкоголосая птица, избирает для жительства сад? Оттого, что в саду ему краше любитя, кохается, вольготней дышится и веселее поется... Да я и сам-то только вот теперь стал понимать это. Ведь сад-то я посадил от нужды великой – чтоб с голоду не помереть. Помнишь небось, как было дело?... А теперь вижу, не мне одному он нужен, сад...

Михаил Аверьянович говорил под неумолкающую, старую и вечно молодую музыку птичьего гомона, шепота листьев и трав, то чуть внятного, то громкого, тревожного под порывами степного мимолетного ветра. Просеиваясь через густые кроны яблонь, теплым золотым дождем струился на землю солнечный свет, в лучах его кружились, сталкивались, мельтешили, мешаясь с пылинками, мириады чуть видимых живых существ – это от них, должно быть, по саду тек непрерывный высочайшего тембра и необыкновенной стройности звук – звук туго натянутой серебряной струны. Прижмурь глаза, приглуши дыхание, настрой сердце на волну этой таинственной колдовской струны, и в него светлым потоком польется нечто непостижимое, вызывающее у человека неутолимую и неизбежную радость жизни. Такое бывает еще осенним ясным днем, когда воздух весь как бы соткан из тонкой белой паутины бабьего лета и когда с немислимых высот прямо в душу твою падают звонкие, хрустальные, чуточку грустные капли прощального журавлиного курлыканыя. В такие минуты человек особенно остро ощущает себя частью природы, малым кусочком всесильной плоти ее...

Михаил Аверьянович замолчал. Молчал и Подиффор Кондратьевич. Тихие, с умиротворенно-просветленными лицами, два этих очень непохожих человека в тот миг были странно похожими друг на друга.

Михаил Аверьянович проводил гостя за калитку сада, и там, у лесной дороги, ведущей в Савкин Затон, они молча расстались. Когда Харламов вернулся, в шалаше его уже поджидал Илья Спиридонович.

– Здорово живешь, сват! – сказал он, вставая, и, не ожидая ответного приветствия, спросил: – Зачем пожаловал монгол-то? Ты, Аверьяныч, не верь ему – плут. Обманет, окрутит и продаст. Друг он мне, потому знаю. Ему палец в рот не клади – откусит, да еще и скажет, что так и было. Так-то!

– Ты, сват, мабудь, зря на него. Подиффор – ничего человек.

– Зверь! – фыркнул Илья Спиридонович и передразнил свата: – «Мабудь»! Калякаешь ты, Аверьяныч, не по-нашему как-то. Пора бы отвыкать. Ну, ну, не хмурься! Ты и так, чай, гневишься на нас, Авдотья, безмозглое существо, дура старая, не разобралась – черт дернул ее за язык!

– Ладно, сват. Лишь бы они-то любилась, – сказал Михаил Аверьянович.

– Полюбятся, коли надо будет. А людская молва – дым: пощиплет маленько – и пройдет. Глаза опосля зорче делаются, видят дальше.

– Не все б им видеть. На иное и очи не глядели бы...

– Нет, сват, на то и глаза, чтоб видеть все, – решительно возразил Илья Спиридонович. – Сослепу и на гадюку не мудрено ступить, а она укусит. – И он глянул в сторону, где скрылся Подифор Кондратьевич. – Так-то!

– И это верно, – подумав, не скоро согласился Михаил Аверьянович, но согласился, дрогнув светлой бородой, заговорил: – Вот что, сват, помирить нам надо детей-то. Мой Микола после той ночи как уехал в поле, так днюет и ночует там. Глаз на село не кажет, пацана Павлуху замучил небось. Зябь у Правикова оврага, за Большим Маром, пашут. Не поехать ли нам завтра туда, а?

– Отчего ж не поехать? На зорьке и отправимся. Только ты свою Буланку запряги в рыдванку-то. Мой меринок притомился сильно – ноги волочит, а то б я его... За Большим Маром у меня с Троицы еще острамок сенца лежит. Насшибал по межам...

Решив этот вопрос, они приступили к обсуждению главного – как бы снарядить свадебный поезд, приличествующий их положению на селе. Илья Спиридонович полагал, что хватит и трех подвод.

– Не княжна она у меня. И твой невелик барин. Сродников у нас с тобой раз-два – и обчелся, – убеждал он свата.

– А не бедно будет? – с сомнением спрашивал Михаил Аверьянович: ему хотелось, чтоб свадьба была как свадьба. – Нет, сват, не меньше шести подвод!

– А где мы их возьмем, шесть-то подвод?

– Найдем. У нас с тобой по подводе – вот уже две. Зять твой Мороз свою даст – три. Подифор Кондратьевич обещал. Митрий Савельич, шабер, тоже. Резвые у него кобылки, огонь! В первую подводу, для жениха с невестой, как раз сгодятся. Федотка Ефремов на своих прыскачет, Песков Михаила рысака выведет, застоялся он у него, – вот тебе и поезд! Я сам об этом позабочусь.

Последние слова Михаила Аверьяновича явно пришлись по душе Илье Спиридоновичу.

– А сколько лишних ртов! – сдаваясь, ворчал он. – Одного винища вылакают – страсть одна. Ведь у каждого утроба – лагун. Но коли ты, сват, настаиваешь, я перечить не буду. Шесть так шесть! Оно и то сказать: не каждый день бывает свадьба, да и наши дети не хуже других прочих. Так-то!

21

В поле выехали на заре. Село только что начало пробуждаться. Редая и утихая, в разных концах Савкина Затона слышалась кочетинная побудка, где-то далеко за кутавшейся в туман Игрицей ей отвечали панциревские петухи. Возле Кочек, на утоптанном, сплошь покрытом сухими, скорчившимися коровьими лепешками выгоне собиралось стадо. Отовсюду неся разноголосый бабий переклик:

– Пестравка, Пестравка!

– Зорька, Зоренька!.. Куда тебя понесло!

– Лысенка, Лысенка!

– Митрофановна, захвати мою-то... Анютка, нечистый ее дери, проснулась и голосит – оставить не на кого!

Громко и бодро в сыром холодном воздухе хлопал пастуший кнут. Крики женщин становились торопливей, беспокойней.

– Вавилыч, родимый, у моей Лысенки черви в боку-то. Подифорова коровенка пырнула вчерась. Можя, оставить ее дома да деготьком смазать?..

– Откель тебе знать, чья корова пырнула твою Лысенку? Ишь ты, Подифорова! – подала откуда-то свой высокий и распевный голос Меланья. – Можя, на кол в твоём же дворе напоролась!

Удовлетворенная, похоже, тем, что ей не ответили, Меланья умолкла. Но тотчас же поднялся новый переполошный бабий вскрик:

– Дуняха, у вас чужие овцы не ночевали? Что-то ярчонка запропастилась, не пришла!

– Не-эт, милая! – отвечала Дуняха и добавляла от себя: – Бирюк, вишь, объявился. На днях у Дальнего переезда Андрей Гурьяныч Савкин видал.

– Сам он бирюк, Савкин твой!

– Он такой же мой, как и твой. Ай забыла, как он к тебе на сеновал лазил?

– А ты, сука, откель знаешь?

– Сама ты сука! Про то все знают!

То в одном, то в другом месте вспыхивала, сгоняя с опухших лиц сонливость, бабья перебранка, но тут же гасла в густой пыли, поднятой сотнями коровьих ног. Стадо накапливалось, сгущалось. Коровы мычали, просились в росную, манящую душистой прохладой степь. От Малых гумен к Кочкам приближался, грозно трубя, мирской темно-бурый бык, по кличке Гурьян. На кудрявой его морде, пониже коротких, мощных, отлого торчащих рогов, из завитушек атласной шерсти кровавыми каплями светились маленькие свирепые глазки. Не дойдя до стада саженьей сто, бык остановился и начал яростно копать землю, швыряя ее передними копытами и подбрасывая вверх рогами. Над ним водопадом бушевала черноземная пыль. Из страшной утробы с надсадным хрипом вырывался, потрясая души людские, звериный рев. Из красных влажных ноздрей выпыхивал жаркий дымок.

Бык этот не случайно был назван Гурьяном. Четыре лета тому назад Гурьян Дормидонтович Савкин пожертвовал его, тогда еще маленького, запаршивленного телка «обществу». Бугаенок быстро пошел в рост, скоро заматерел и оказался по характеру своему и по цвету шерсти на редкость схожим с прежним своим хозяином, так что затонцам – великим мастерам придумывать прозвища – не стоило большого труда подобрать ему достойное имя.

Женщины и ребяташки, заслышав рев Гурьяна, поспешно покидали выгон и, второпях то и дело попадая голыми пятками в свежее коровье творенье и отчаянно бранясь, укрывались за калитками ближайших дворов. Многие роптали:

– Кишки выпустит, нечистая сила!

– И што, бабыньки, держат его мужики? Прирезали б, да и только!

– Прирежь! Они те, Савкины-то, прирежут!

– Хотя б он энтова, старого злыдня, на рога подцепил разок. Тогда небось...

– Гурьян, сюда! – властно заорал Вавилыч неповторимым своим пастушьим – с певучей ветряной хрипотцой – басом и резко взмахнул рукой. Кнут черным змием взвился у него над головой, сделал там несколько свистящих колец и, вдруг опустившись к самой земле, выхлестнул резкий, трескучий хлопок. Бык сейчас же поднял красивую лобастую морду, поглядел, и покорный, быстро и молча пошел в стадо. Стадо зашевелилось, заклубилось и пестрой рекою в дымке утра медленно потекло в поле.

Переждав, пока пыль немного осела на землю, сваты тронулись дальше.

Впереди них бежал Жулик, маленький лохматый пес, и думал свою собачью думу. Он думал о том, как все-таки хорошо жить на белом свете. Куда ни глянь, куда ни побеги, всюду тебя ждет веселое и приятное развлечение. И воздух кругом такой чистый! А сейчас, ежели побежать вон к тому неубранному крестцу пшеницы и покопать под ним лапами, можно выкопать дюжину жирных, дымчатых, с желтой полоской на спине мышей, и, если голоден, ешь их в свое удовольствие, а нет – просто хрустни зубами по мягким теплым косточкам.

Мысли Жулика незаметно перенеслись на старого хозяина. Хорошо с ним жить в саду! Только за птиц ругает, не велит пугать их. В присутствии Михаила Аверьяновича Жулик ничего не боится и даже может храбро тьякнуть на свирепого и огромного Подифорова Тиграна – внука старого Тиграна, давным-давно издохшего. Михаил Аверьянович хорошо кормил

Жулика, а бил мало. А коли и побьет, то за дело и не очень сильно – просто пнет носком лаптя в живот, и все, а потом сам же приласкает.

Очень нужным существом на свете была также Буланка, думал Жулик. Правда, она не так давно наступила ему на хвост, и было больно, но Буланка сделала это нечаянно. Зато в лютые и долгие январские ночи она своим большим телом согревала его, свернувшегося клубочком около ее брюха. А когда во дворе свистит вьюга, а на Малых гумнах и у Дальнего переезда воют голодные волки, то с Буланкой не так боязно: она спокойно хрумкает овес, фыркает, будто ничего и не случилось...

Еще, думал Жулик, самым необходимым жителем на земле была соседская Лыска, хоть он и знал, что она шельма и воровка. Нередко в игре с Жуликом она больно кусала его, а делала вид, что невзначай. Однако Лыска была игрунья, и с ней всегда весело. Жулик любил Лыску. Он вспомнил, как прошлой зимою она подобрала на своем дворе замерзшую курицу и поделилась с ним добычей – дала крылышко и ножку...

Внизу, над гумнами, отвесно подымались два рыжих облака – там возобновилась молотба. Глухо, как сердцебиение, земля передавала тяжкие удары цепов. Обмолачивали пшеницу, ячмень, просо, и оттого облако было рыжим; неделей раньше оно было еще палевым, светло-желтым, почти белесым – тогда обмолачивали рожь.

Отсюда, с горы, сваты легко отыскивали глазами на Малых гумнах свои риги. Гумно Харламовых стояло почти у самого кладбища, и там время от времени белыми крылами взмывали два платка.

«Дарьюшка с Пиадой хлопочут, – подумал Михаил Аверьянович. – Петро, наверное, тоже на гумне. Только плохой он им помощник».

Ехали полем. Солнце поднялось и начинало припекать. Кое-где виднелись крестцы не свезенной на гумно пшеницы. На крестцах, разинув белые клювы и приоткрыв крылья, сидели сытые грачи. Трепеща крыльями на одном месте, светлыми поплавками висели в побелевшем воздухе кобчики. От крестца к крестцу, бросая на желтую стерню стремительную тень, перелетал лунь. Дорогу то и дело перебежали пестрые суслики. Похожие на землемерные столбики, по буграм торчали сурки и пересвистывались. Заработали неутомимые степные молотобойцы – кузнечики, огласили степь несмолкаемым звоном невидимых своих наковален.

Впереди над всем полем царственно высился Большой Мар – древний скифский курган. Вкруг него, у подножия, буйно рос осот, который и сейчас цвел ярко-малиновым цветом. Издали казалось, что на плешивую голову старика кургана надели венки.

О Большом Маре, так же как и о Вишневом омуте, сохранилось множество легенд. Одну из них особенно часто рассказывает Сорочиха: казалось, она была ровесницей всей затонской старины.

– Я тогда девчонкой была, а вот как сейчас помню, – начинала она, окружив себя юными слушателями и слушательницами. – Повез меня покойный отец на поле, раненько так, хлеба глядеть, да и завернул к Мару. «Погодь, Матреша, а што тебе покажу», – баит. Подъехали. Глядь, а в Мару-то дверь, замок на ней пудовый висит. Батюшка мой покопался в земле, вынул отколь-то секретный ключик, повернул сто разов в одну сторону и сто разов в другую. В замке-то зазвонило, музыка заиграла, право слово! Играет так-то все божественное, прямо-таки за сердце хватает, сладкая-пресладкая музыка! Поиграла, поиграла, а потом – хлоп! – затихла. Скрипнул замок, сказал что-то непонятное человеческим голосом, да и упал на землю. А дверь, милые, сама открылась. Взял меня батюшка за руку и повел. «Иди, – говорит, – за мной и про себя твори молитву». Шепчу и «Богородицу» и «Отче наш», а сердечко-то колотится, того и гляди выпрыгнет из грудев. Вошли в терем, темный-претемный, отец спичку зажег, видим – посреди терема гроб стоит на золотых ножках, весь, милые, в жемчугах да брильянтах, а в гробу, под стеклом, упокойница лежит, уж такая раскрасивая, што ни в сказке сказать, ни пером описать. Лежит чисто живая, брови черные, а личико белое-пребелое, и губки цвети-

ком-сердечком сложены. Княжна. Князь убил ее из ревности, а потом жалко стало, – любил ее очень! – заказал в царском граде богатый гроб, построил для нее терем-усыпальницу, а дружке своей, войску, значит, приказал таскать в железных шапках-шеломах землю на могилку-то. Таскали князевы воины сорок дней и сорок ночей, так-то и вырос Большой Мар...

– А где сейчас княжна? – нетерпеливо спрашивали Сорочиху.

– В Мару. Где же ей еще быть! – невозмутимо отвечала старуха. – Только терем с гробом и дверью опустили вниз сажен на триста. Не докопаешься. А кто и пробовал копать, так руки на другой же день отсыхали, – прибавляла она, очевидно, на тот случай, как бы кому из ее слушателей не пришла в голову безумная мысль поковыряться в кургане.

...Накаляясь, воздух белел, дышать становилось труднее. Красные шеи сватов увлажнились, по причудливо извилистым канавкам морщин струились ручейки пота, смывая прилипшие к телу сухие былки и лепестки поздних полевых цветов.

Илья Спиридонович первый расстегнул ворот синей сатиновой рубахи, отпустил веревки на онучах.

– Жара, – сказал он, шурясь.

– Хорошая погодка! Такая с неделю постоит – управимся с уборкой и зябью. Скоро второй спас – сбор яблок. У меня кубышка поспела – хоть сейчас убирай. Яблоки висят – янтарь.

Михаил Аверьянович не договорил, пораженный неожиданно явившейся перед ними картиной.

Из-за Большого Мара во весь дух бежали три человека, которых сваты тотчас же и опознали. Впереди скакал вприпрыжку пятнадцатилетний долговязый Павло, за ним, размахивая кнутом и жутко матерясь, – Микола – огненно-рыжие волосы на нем вздыбились, он угрожающе кричал:

– Убью щенка!

Третьим, приотстав, семенил Митрий Резак. Вдохновляя Николая, он взвизгивал:

– Путем, путем его, Колька!

Павел прямо с ходу, сделав большой, заячий скок, прыгнул в рыдванку и спрятался за отцовской спиной. Преследователи в нерешительности остановились.

– Что такое? – спросил ничего не понимающий и донельзя сконфуженный перед сватом Михаил Аверьянович.

– А кто его знает... – только и смог выговорить загнанный и перепуганный насмерть Пашка.

– Измучился я с ним, тять! – подходя к рыдванке, начал Николай, тоже малость смутившись перед тестем, но лицо его все еще перекипало злостью. – Больше ты его не посылай со мной. Лучше уж однорукий Петро... Пашка прогуляет ночь, а днем спит. Поставлю гаденьша за чипиги – засыпает в борозде. Погоничем встанет – лень кнутом махнуть, лошади засыпают... Ну, вот я того... не утерпел. Хотел поучить чуток. А он видит, дело плохо, и наутек!..

– Истинная правда, шабер! – вступился Митрий Резак, белые галочки глаза его светились горячо, жаро. – Лодырь твой младший, каких свет не видывал. А все оттого, что ты редко секаешь его, сукиного сына! Путем его долговязого губошлепа! Путем!

– Ну, Митрий Савельич, это уж мое дело, кого посечь, кого обождать, – нахмурился Михаил Аверьянович. – Ежели ты хочешь знать, я вовсе не бью своих детей.

– Да ну? Не может того быть! – страшно и искренне удивился Митрий. – А я своего Ваньку и досе порю, ей-богу!

– Ну и пори на здоровье, а на чужих детей не замахивайся! – поддержал Михаила Аверьяновича Илья Спиридонович, который был зол на Полетаева Митрия с того еще вечера, когда тот приходил сватать Фросю и сделал весьма смелое и рискованное замечание насчет скупости Ильи Спиридоновича. – Ты уж не дите. Шестой десяток на свете живешь да хлеб жуешь. Нет

бы, разнять глупых, а ты сам туда же, рад драке: «Путем! Путем!» Недаром, знать, Резаком-то тебя окрестили!

Назревал новый конфликт, это понял Михаил Аверьянович и поспешил погасить искру раньше, чем из нее возникнет пожар:

– Ладно, сват. Успокойся. С кем греха не бывает? Они, рассукины дети, кого хочешь выведут из себя... Садитесь все. Подвезу!

По пути к недопаханным полям помирились. Братья Харламовы сидели на рыдванке рядышком и, небывало кроткие, тихо переговаривались. Последнему обстоятельству немало способствовало то, что Илья Спиридонович успел уже сообщить зятю, что дочь смирилась, теща тоже и что ныне вечером они ждут его к себе в гости.

На дороге, у своей межи, граничащей с наделом Харламовых, стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Иван Мороз. Он шурил плутовские глаза, что-то соображал. Потом шепотом, только для себя, раздумчиво заговорил:

– У тестя, конечно, ни хренинушки нету, а вот хохол, тот, поди, квасу бочонок да блинов сыновьям везет...

И когда рыдванка поравнялась, в голове Ивана Мороза был уж готовенький план, с помощью которого он надеялся быстро расположить к себе Михаила Аверьяновича.

Вышла, однако, осечка. Мороз едва ли не впервые дал маху. Он не знал, что Михаил Аверьянович собственными глазами наблюдал потасовку сыновей, и это погубило его план.

– Орлы они у тебя, Аверьяныч! – заговорил он торжественно, краем хитрющего глаза косясь на торчащий из-под соломы бочонок грушевого кваса и на белый сверток в задке рыдванки. – До чего ж смирные и разумные парни! Таких, мотри, ни у кого и нет! Взять хотя бы твоего, Митрий Савелич, Ваньку! Не то, ей-богу, не то! С ленцой парень. А эти – ну прямо золото работники!

Речь Ивана Мороза могла быть истолкована не иначе как откровенная и наглая издевка, и потому Илья Спиридонович, испытав, в свою очередь, неловкость, прикрикнул на старшего зятя:

– Ну и ты хорош! Чья б корова мычала, а твоя молчала!.. Жаворонков все слушаешь, а сам глухой, как старая Сорочиха! Звонарь!

Поняв с запозданием свою оплошность, а также и то, что блинов и холодного квасу ему не отведать, Мороз оглушительно высморкался. Грачи, бродившие по свежим бороздам, испуганно взлетели. Наполненный только до половины бочонок ответил Морозу гулким насмешливым эхом.

Чертыхаясь про себя, Иван Мороз направился к борозде, на которой, понурившись, стоял в сохе ленивый его меринок по кличке Чалый.

– Обижают нас с тобой, – пожаловался ему Мороз.

Чалый не повел и ухом. На длинной морде его, под глубокими вмятинами, сумеречно, тускло светились бесконечно равнодушные глаза.

– И ты тоже? Ну, черт с вами! – Иван Мороз ошпарил меринка кнутом и, качаясь из стороны в сторону, поддерживая за поручни соху, мелькая черными голыми пятками, медленно побрел по борозде.

Все занялись делом. Только Жулик по-прежнему предавался праздности. Заметив сову, он с пронзительным лаем припустился за ней. Сова лениво махала лохматыми неряшливыми своими крыльями, почти над самой землей, а Жулику казалось, что вот-вот она выбьется из сил и он сцапает ее. Однако пес скоро сам так умаялся, что отказался от погони. Возвращаясь к рыдванке, Жулик увидел Лыску. Она неровными прыжками бежала прямо к нему. Жулик с радостным визгом кинулся было навстречу, но, не добежав нескольких сажен, остановился: на длинном, висевшем между ослепительно-белыми нижними клыками языке Лыски была кровавая пена, глаза ее были мутны, хвост висел книзу, как у волка.

– Мужики, ребята, на рыдванку! Сюда, ко мне! – петухом загорланил Митрий Резак. – Никак, взбесилась!..

Жулик тоже бросился прочь, но убежать не смог: Лыска мгновенно настигла его. Жулик вертелся, скулил, избегая ее вонючих зубов, но вырваться не сумел. С перепугу он даже потерял память. Очнувшись, увидел, как четыре острых железных зуба вил пригвоздили Лыску к земле и она издыхала. Рядом стоял Михаил Аверьянович. Жулик радостно затыкал и в знак благодарности хотел было лизнуть лицо хозяина, но тот так сердито прикрикнул на него, что Жулик мигом откатился под рыдванку.

Случай этот сваты, не сговариваясь, почли за недобрый знак.

«Эх, Микола, Микола, плохо твое дело!» – подумал Михаил Аверьянович, вздохнув.

«Мотри, зря я просватал в хохлацкий дом Вишенку. Все пошло не так, как у людей. То моя дура натворила, то вот это... – подумал, в свою очередь, Илья Спиридонович, не глядя на Харламовых. – Однако отрезанный кусок... Не вернешь!»

Вслух он попросил:

– Можя, сват, ты на своей Буланке отвезешь острамок-то мой на гумно?

Навьючивали воз молча. В «острамке» оказалось сена не по наклески, как уверял Илья Спиридонович, а сверх того еще с добрый аршин. Так что под конец черенка вил едва хватало, чтоб Михаил Аверьянович мог подать стоявшему на возу свату очередной навильник. Подавая навильник за навильником, Михаил Аверьянович продолжал горестно размышлять: «И зачем я, старый дурак, покликнул собачонку? Сидел бы Жулик в саду да яблоки стерег!»

В село сваты возвращались одни. Братья Харламовы остались допахать клин. С воза, оглянувшись, хорошо было видно, как пара добрых лошадок, взятых на время – за плату, конечно, – у Подифора Кондратьевича, бодро тянет однолемешный плуг, как из-под лемеха жирным, вспыхивающим на солнце пластом, переворачиваясь, ложится земля. «Проученный» братом Пашка живо помахивает кнутом. Николай, помогая ему, весело покрикивает: «Эй, ну ли! Что заснули?» Позади них на свежую борозду черными хлопьями опускаются грачи, клюют червей и еще какую-то мелочь.

Но привычная эта картина не могла отвлечь сватов от тяжелых дум. Всю дорогу они не разговаривали.

Невесело было и Жулику. Дома он, хоть и был голоден, не стал ждать у двери, когда ему вынесут поесть, а, забравшись в сарай, где ночуют овцы, забился в самый угол и свернулся клубочком. Но хозяин почему-то выгнал его оттуда. Тогда Жулик залез под сани, поднятые на лето на два бревна, и там, в холодке, прилег, распугав кур. Тоска пронизала все его собачье существо, и Жулику захотелось плакать. Пришла ночь, хозяин ушел в сад и не позвал его с собой, как делал раньше. Жулик все лежал под санями. По всему селу слышится лай собак, но Жулику было не до них. Дрожь в теле не унималась.

К утру вернулся хозяин и ласково поманил Жулика. В его голосе пес услышал что-то уж слишком нежное и потому насторожился.

– Пойдем со мною, глупый! Ну, что ты уставился?

Жулик тьякнул и, вильнув хвостом, побежал за Михаилом Аверьяновичем. И только теперь увидал на плече его какой-то предмет, похожий на изогнутую дубину, от которой неприятно воняло. Жулик вспомнил, что такую палку он видел у одного мужика, забредшего однажды в сад из лесу и долго о чем-то говорившего с хозяином.

Предчувствие нехорошего заставило Жулика вновь насторожиться, и он задержался. Но Михаил Аверьянович опять стал ласково манить его за собой.

Они вышли на зады и остановились. Хозяин снял с правого плеча изогнутую вонючую палку, и, чем-то шелкнув, наставил ее на Жулика. Тот заворчал. Но потом, встав на задние лапы, жалобно завыл. В ту же минуту раздался пронзительный детский крик:

– Дедушка, зачем?

К ним, падая, вставая и снова падая, бежал внук Ванюшка.

Напротив Жулика, бледный, высокий, стоял Михаил Аверьянович. Он говорил виновато:

– Как же это я, старый дуралей, надумал такое? А? Как же можно? Жулик, прости меня, разум, мабуть, отшибло! Пойдем-ка поскорее в сад. Там я тебя полечу! Пойдем и ты, Иванко, медовка по тебе соскучилась, да и кубышка заспрашивалась: «Где Ванюшка да где Ванюшка?»

– А ремезино гнездо покажешь?

– Покажу. Все покажу.

В саду Михаил Аверьянович окончательно смягчился, подобрел, сделался оживленным, рассказывал внуку разные лесные истории, сказки.

– Дедушка, а кто сочиняет сказки? – неожиданно спросил Ванюшка.

Михаил Аверьянович с удивлением глянул на него и, подумав с минуту, сказал:

– Наверно, бедные люди их сочиняют, Иванко.

– А почему не богатые?

– Да богатым-то и без сказок хорошо живется... Ну, хватит, Иванко, все б ты знал...

Подрастешь – тогда... А сейчас нам с тобой Жулику надо помощь оказать, полечить его...

Где-то под крышей шалаша Михаил Аверьянович отыскал кiset, подаренный ему, некурящему, Улькой, высыпал из него на горький лопух какую-то сухую травку, поманил Жулика:

– Вот тебе и лекарство. Ешь, пес!

Жулик понюхал и недовольно чихнул: от травы в нос ему ударил резкий запах.

– Ешь, ешь! Лекарства – они всегда горькие.

Жулик послушался, начал неумело грызть невкусные сухие былки. Михаил Аверьянович низко наклонился над ним.

– Жуй, лохматый. Земля – она все родит. И такое, от чего можно лапы кверху, и такое, от чего воскреснешь. Знать ее только надо, землю. Незнающему она злая мачеха. Знающему и любящему ее мать родная. Ясно тебе?

22

Осень была скоротечной. В первых числах ноября, внезапно подкравшись темной, безлунной ночью, ударил мороз. Игрица на бегу остановилась и, не замутненная серенькими долгими дождями и неприятными ветрами, глядела в озябшее небо ясными-преясными голубыми очами, закрапленными только пятнами упавших накануне и тоже остановившихся в удивленном недоумении листьев. Сад быстро погружался в зимнюю спячку и торопился сбросить с себя летнее убранство. Лиственная багряно-желтая пороша усилилась. Воздух был полон упругого, трепетного шелеста, будто тысячи нарядных бабочек вились в нем. Под ногами сочно хрустело.

А во второй половине ноября выпал снег, тоже ночью, и за одну эту ночь прежний мир как бы исчез вовсе под огромным белым покрывалом. Думалось, что вот явится сейчас некто и начнет творить все заново на этой бесконечно белой площадке.

Творить, однако, ничего не надо было. Давным-давно сотворенный мир жил своей неповторимо сложной и вечной жизнью.

В просторном дворе Харламовых собирался свадебный поезд. Петр Михайлович, по единому согласию сватов назначенный дружкой, чертом носился меж саней, размахивал единственной рукой, отдавая распоряжения. Изо рта его на морозный воздух вылетал хмельной пар, серые глаза фосфорически блестели. Рушник, перекинутый через плечо, придавал его сухой фигуре необходимую важность.

Нарядные дуги и гривы лошадей, хмельные парни и молодые мужики, звон колокольчиков под дугами, красные ребячьи мордочки со светящимися влажными носами, сияющие, зажженные неукротимым любопытством глазенки, всхлипы гармони, хохот, хлопотливая

беготня стряпух, звон приносимых отовсюду чугунов и тарелок, запах лаврового листа и перца, плотский густой дух разваренного мяса, скрип открываемых и закрываемых ворот, горячий храп возбужденных лошадей – все это соединялось в одну пеструю, грубую, но удивительно цельную картину зарождающегося необузданного российского веселья, имя которому свадьба.

В доме Рыжовых подружки наряжали невесту к венцу. Две из них – Наташа Пытина и Аннушка Полетаева – заплетали ей косы, и обе плакали неудержимо и безутешно. Им было жалко и Фросю, но больше самих себя: Аннушка сердцем чувала, что приходит конец и ее девичьей свободе, ну а у Наташи были свои причины к слезам, куда более важные. Темные волны тяжелых Фросиных кос струились, текли сверху вниз перед глазами девушки, туманили взор, закрывали весь белый свет, который и без того-то был не мил ей.

Фрося не плакала. Глаза ее были сухи, светились ярко, воспаленно. В уголках плотно сжатых губ легли скорбные складки; на бледных щеках красными пятнами, то истухая, то воспламеняясь, тлел румянец; на смуглой шее, чуть повыше ключицы, беспокойно билась крохотная синяя жилка.

Девушки, сидевшие у стен на длинных лавках, пели грустные песни. Авдотья Тихоновна все глядела и глядела в окно – не видать ли поезда. Илья Спиридонович ходил по двору, размечая, где и какую поставить подводку.

Непостижимо, каким это образом, но вот все узнали, что поезд со двора Харламовых выехал и направился за невестой. Девушки вскочили со своих мест и повели Фросю, убранную в подвенечное, за стол. Сами сели рядом с нею.

Показался поезд. Собственно, самого поезда не было видно. О его приближении узнали по звуку колокольчиков, по свисту саночных подрезов и по несшемуся вдоль улицы белому снежному вихрю, по дружному и радостному воплю ребятишек: «Едут! Едут! Едут!»

Иван Мороз и еще два парня из Фросиной родии подбежали к высоким тесовым воротам и заперли их перед храпящими мордами разгоряченных коней.

– А ну-ка, дружечка, подкинь на водку! Приморозились мы тут, вас ожидаючи! – выдвинулся навстречу Петру Михайловичу Иван. – А то не отдадим невесту!

Петр Михайлович бросил в растопыренную ладонь Мороза несколько медяков, и ворота распахнулись. Снежный вихрь ворвался во двор и закружил по нему в звоне колокольчиков, в разбойном свисте и криках пьяных парней, в лошадином храпе, в суматошном кудахтанье перепуганных кур. В белой замяти поезд развернулся на выход, первая подводка встала у самых ворот. Дружка повел жениха и разнаряженных свах в дом за невестой. На груди Петра Михайловича дряно горел бант, а еще краснее и ярче полыхал его нос на довольном пьяном лице. Короткий обрубок руки неудержимо подпрыгивал под дубленным полушубком.

Николай шел нервными шажками и ничего не видел перед собою, и когда открылась дверь и его ввели в переднюю, то в глазах запестрело, замельтешило, будто кто-то сильно ударил в переносицу. Он не слышал веселых прибауток брата, не слышал песни, которую пели подружки невесты. А подружки пели:

Ах, теща его, добра-ласковая,
Выводила ему ворона коня.
«Ах, это не мое, мое суженое,
Ах, это не мое, мое ряженое!»

Николай не видел Фросю, точно так же как и она не видела его. Потупившись, Фрося боялась поднять глаза – так слабый человек боится иной раз глянуть прямо в лицо своей судьбе.

Девушки между тем пели, и особенно усердствовала Наташа Пытина. Пылая вся, она смотрела на жениха широко открытыми, немигающими глазами с несвойственной ей радостью и громко, чуть дрожащим голосом пела:

Ах, теща его, добра-ласковая,
Выводила ему красну девицу.

И, умолкнув на мгновение, уже не пела, а выкрикивала насмешливо, зло и вызывающе:

«Ах, вот это мое, мое суженое,
Ах, вот это мое, мое ряженое!»

Дружка взмахнул рукой и с режущим свистом ударил плетью об стол:

– Отдайте, девчата, невесту!

– Не отдадим! – крикнула Наташа, и вечно добрые, ласковые и робкие глаза ее плеснули на жениха яростью. Красивое лицо стало прекрасным от этого прорвавшегося наружу гнева. Она хлопнула по столу скалкой и повторила настойчивее: – Не отдадим! – а сама не отводила горячих, яростных глаз от Николая.

Дружка выбрасывал одну монету за другой до тех пор, пока Наташа Пытина не насытилась своим гневом и не выскочила на улицу. Девушки расступились и освободили место за столом для молодых.

На столе появились водка, закуска. Всем подносили по стакану. Всем, кроме жениха с невестой. Стряпухи тащили щи, кашу, куриную лапшу. Ели все. Все, кроме жениха с невестой. Перед ними лежали ложки черенками к середине стола. Тихие, смиренные, жалкие, противные сами себе, сидели они, ни к чему не притрагиваясь: ни пить, ни есть им не полагалось, пока не примут таинства законного брака.

Еще более охмелевший дружка вывел жениха и невесту во двор, усадил на первую подводу, которой правил Иван Полетаев. Тот сидел в передке, натянув вожжи так, что ногти на его руках побелели; на щеках туго перекатывались шары, из-под воротника венгерки выглядывала багровая полоска шеи; Фрося видела эту полоску и чувствовала, что ей не хватает воздуха. А вокруг шум, крики. На плетнях, на крыше ворот торчат ребятишки, галдят, горланят. А дышать все труднее. Красная полоска перед глазами – она режет девичьи очи. Господи, поскорее же! Но дружка не спешит. Он усаживает свах, щупает, щиплет их покалеченной рукой, свахи визжат, сквернословят. Из открытой двери избы слышится голос матери, негромкая, отрывистая ругань отца. А рядом сидит молча и робко чужой человек. Господи, поскорее же!

Фрося больно стукнулась затылком о заднюю стенку санок, когда лошади рванули со двора. Под дугою болтливо заговорил колокольчик. Из-под лошадиных ног летели ошметья спрессованного, вычеканенного копытом снега. Полетаев гнал во всю мочь. Фрося зажмурилась, и как раз вовремя, потому что их санки неслись по самому краю крутого берега Грачевой речки и на повороте, возле Узенького местечка, едва не опрокинулись под откос. Открыв глаза, она увидела повернувшееся к ним оскаленное лицо Ивана. Фрося испугалась и прикрыла лицо тулупчиком.

Из ее родни до церкви поезд провожал лишь один Мороз. Мать, отец, крестный и крестная оставались дома. Им полагалось сидеть за столом, пока идет венчание. Авдотья Тихоновна потихоньку, украдкой от мужа, всхлипывала. Она могла бы это делать и не таясь, потому что Илья Спиридонович был занят более важными делами, чем наблюдение за своей супругой. С великой досадой на себя он думал о том, что дал согласие провести молодых от церкви до Харламовых в венцах, под колокольный звон, за что надо будет заплатить попу дополнительно пять рублей. Это уж непростительное расточительство! «Чертов хохол! Наказал на два с половиной!» – мысленно отчитывал он Михаила Аверьяновича. Крестный и крестная невесты тоже были озабочены, им страшно хотелось поесть, но они не отваживались протянуть руку к закускам. Сидели молча, покорно прислушиваясь к ропоту пустых своих желудков.

За окном, над белым селом, взвыли колокола: Иван Мороз показывал свое искусство. Он перестал трезвонить только тогда, когда увидал с высоты колокольни, что свадебный парад приближается к харламовскому подворью. С необыкновенным проворством сбежал он вниз по спиральной лестнице и устремился к дому Михаила Аверьяновича. Примчался туда в тот момент, когда хозяин и хозяйка вышли навстречу молодым с иконой в руках.

Николай и Фрося поклонились и поцеловали икону, потом поцеловали отца с матерью, и только после этого дружка повел их в дом. Когда стали подниматься на крыльцо, что-то белое и шуршащее замелькало перед Фросей, она вздрогнула и подняла лицо. Перед ними, загораживая путь, возвышалась большая и круглая, как гора, бабушка Настасья Хохлушка. Она осыпала их сухим душистым хмелем и приговаривала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.